**ЛЕСЛИ ХАЗЕЛТОН**

**ПЕРВЫЙ МУСУЛЬМАНИН**

# **ЧАСТЬ 1 СИРОТА**

## **Первая глава**

Если бы он не стоял на горе, в одиночестве предаваясь размышлениям, можно было бы сказать, что в нём нет ничего необычного. Самые ранние источники описывают его с раздражающей неопределённостью для тех, кому необходимы подобные образы. «Он был ни высоким, ни низкорослым», говорят они. - «Он был ни темнокожим, ни светлокожим, ни худым, ни полным». Но иногда сквозь эти описания просачиваются конкретные детали, и они удивляют. Казалось бы, человек, проводящий ночь за ночью в одиночной медитации, должен быть измождённой, аскетичной фигурой, но вместо бледности и слабости у него были круглые, румяные щеки и здоровый цвет лица. Он был крепко сложен, почти с бочкообразной грудной клеткой, что, возможно, частично объясняет его характерную походку, всегда «слегка наклонённую вперёд, как будто он спешил к чему-то». И, должно быть, у него был жёсткий затылок, потому что люди вспоминали, что, поворачиваясь посмотреть на кого-то, он разворачивал всё тело, а не только голову. Единственной чертой, которая делала его традиционно красивым, был его профиль: загнутый, как у ястреба, нос, долгое время считавшийся признаком знатности на Ближнем Востоке.

На первый взгляд можно было бы заключить, что он был обычным мекканцем. В свои сорок лет, сын, никогда не видевший своего отца, добился в жизни куда большего, чем могло казаться возможным. Ребёнок, родившийся чужаком в своём собственном обществе, наконец завоевал признание и, несмотря на все трудности, построил себе хорошую жизнь. Он был обеспечен, счастливо женат, занимался торговыми делами и пользовался уважением сверстников. Да, он не был среди тех, кто вершил судьбы процветающего города, но может быть поэтому ему доверяли представлять их интересы. Его считали бескорыстным, то бишь человеком, который мог рассмотреть предложение или спор по существу и принять соответствующее решение. Он нашёл себе прочное место в мире и заслужил право в среднем возрасте отдохнуть и насладиться своим ростом в обществе. Так что же он делает здесь, в одиночестве, на одной из гор, окружающих спящий город? Почему счастливо женатый мужчина изолировал себя таким образом, стоя в медитации ночью?

Подсказка, возможно, крылась в его одежде. К этому моменту он мог бы позволить себе сложные вышитые шелка богатых, но его одежда была скромной. Его сандалии были изношены, кожаные ремешки выгорели на солнце и стали светлее его кожи. Его тканая вручную туника почти истерлась, если бы не был так тщательно заштопан, и эта туника едва ли могла защитить его от ночного холода в высокогорной пустыне. И всё же что-то в том, как он стоял на склоне горы, делало холод несущественным. Лёгкий наклон вперёд, словно он противостоял невидимому ветру, придавал его фигуре ощущение человека, который существует в постоянном напряжении, будто находясь в противоречии с самой землёй.

Конечно, с высоты мир смотрится иначе. Здесь можно найти покой в тишине, где лишь ветер, пронизывающий скалы, составляет тебе компанию, вдали от раздоров и сплетен города, вдали от споров о деньгах и власти. Здесь человек — всего лишь точка на фоне горного пейзажа, его разум свободен думать, размышлять, а затем, наконец, перестать думать, перестать размышлять и погрузиться в необъятность.

Присмотревшись, можно заметить тень одиночества в уголках его глаз, нечто, напоминающее о том, что он когда-то был чужаком, как будто его преследовала мысль, что всё, чего он добился долгими усилиями, может быть отнято в любой момент. Возможно, тот же отблеск уязвимости и решимости проявлялся в его губах, слегка приоткрытых, когда он шептал в темноте. И тогда, возможно, вы бы спросили, почему ему недостаточно быть довольным. Может быть, именно потому, что его положение было так тяжело завоёвано, он не мог воспринимать его как данность, не мог чувствовать себя в нём уверенно? Но что могло бы дать ему желанное? Чего он искал? Был ли это внутренний покой? Или что-то большее — проблеск, намёк на нечто большее?

Одно можно сказать уверенно: по словам самого Мухаммада, он был совершенно не готов к тому, что пережил в ту ночь 610 года. Человек встречает божественное: для рационалиста это вопрос не факта, а возжеланной выдумки. И если бы Мухаммад повёл себя так, как можно было бы ожидать после его первого откровения на горе Хира, это было бы легко назвать просто сказкой, придуманной ведомый благочестием и верой. Но он не повёл себя таким образом.

Он не спустился с горы, словно паря в воздухе. Он не бежал вниз, крича «Аллилуйя» или «Благословен Господь». Он не излучал света и радости. Не было ни ангельских хоров, ни небесной музыки. Ни восторга, ни экстаза, ни золотого сияния вокруг него. Ни осознания своей абсолютной, предначертанной, неоспоримой роли посланника Бога. Не было даже полного откровения Корана — лишь несколько коротких аятов. Короче говоря, Мухаммад не сделал ничего такого, что казалось бы необходимым для создания легенды о человеке, который совершил невозможное и пересёк границу между этим миром и иным, — ничего такого, что облегчило бы задачу скептикам, позволив им обвинить его в обмане, выдумке или в личных амбициях.

Напротив: он был убеждён, что то, с чем он столкнулся, не могло быть реальностью. В лучшем случае это было галлюцинацией: обманом зрения или слуха, или игрой его собственного разума против него. В худшем случае — одержимостью, и его захватил злой джинн, дух, стремящийся обмануть его, даже уничтожить. Он был настолько уверен, что стал *маджнун* (буквально «одержимым джинном»), что, оказавшись живым, первое, что он хотел сделать, — это покончить с собой, броситься с самой высокой скалы и прекратить ужас того, что он пережил, раз и навсегда.

Так что человек, спустившийся с горы Хира, дрожал не от радости, а от первобытного страха. Его переполняли не уверенность, а сомнения. Он был уверен только в одном: что бы это ни было, это не предназначалось ему. Не мужчине среднего возраста, который, возможно, надеялся лишь на простой момент благодати, а вместо этого получил этот ослепительный груз откровения. Если он больше не боялся за свою жизнь, то всё ещё боялся за свой разум, болезненно осознавая, что слишком много ночей в одиночной медитации могли подтолкнуть его к краю безумия.

Что бы ни произошло там, на горе Хира, чисто человеческая реакция Мухаммада, возможно, является самым убедительным аргументом в пользу исторической реальности этого события. Независимо от того, считаете ли вы, что слова, которые он услышал, пришли изнутри него самого или извне, очевидно, что Мухаммад пережил их с такой силой, что это потрясло его представление о себе и своём мире. Страх был единственно разумной реакцией. Страх и отрицание. И если эта реакция кажется нам неожиданной, даже шокирующей, это лишь отражение того, насколько мы введены в заблуждение стереотипным образом экстатического мистического блаженства.

Отбросьте на мгновение такие предвзятые представления, и вы, возможно, увидите, что страх Мухаммада говорит о реальном переживании. На самом деле, он звучит до боли человечески — слишком человечески для некоторых, например, для консервативных мусульманских богословов, которые утверждают, что упоминание о его попытке убить себя не должно даже обсуждаться, несмотря на то, что это записано в самых ранних исламских биографиях. Мусульманские богословы настаивают, что Мухаммад никогда не сомневался ни на мгновение, не говоря уже о том, чтобы впадать в отчаяние. Требуя совершенства, они не могут терпеть обычные человеческие несовершенства.

Возможно, именно поэтому так сложно понять, кем на самом деле был Мухаммад. Чистота совершенства отрицает сложность прожитой жизни. Для мусульман всего мира Мухаммад — это идеальный человек, пророк, посланник Бога, и хотя в Коране ему снова и снова велят говорить: «Я всего лишь один из вас», — благоговение и любовь не могут удержаться от желания укутать его в серебро и злато. К нему испытывают чувство собственнической привязанности, яростной заботы, которая становится ещё сильнее в то время, когда сам ислам находится под столь пристальным вниманием на Западе

Действует закон непреднамеренных последствий. Идеализируя кого-то, мы тем самым, в некотором смысле, обесчеловечиваем, демонизируем его. Несмотря на миллионы, если не миллиарды написанных о Мухаммаде слов, может быть сложно ощутить его как реального человека. Чем больше вы читаете, тем сильнее может становиться чувство, что, хотя вы, возможно, многое узнали о Мухаммаде, вы всё ещё не знаете, кем он был. Кажется, что он почти задушен под тяжестью накопленной массы слов.

Хотя легенды о Мухаммаде часто бывают величественными, они, как и любые легенды, скрывают больше, чем раскрывают, превращая его скорее в символ, чем в человека. Даже несмотря на то, что ислам стремительно приближается к христианству как к крупнейшей мировой религии, мы до сих пор имеем мало реального представления о человеке, которому в Коране трижды велено назвать себя «первым мусульманином». Его жизнь — одна из самых значительных в истории, но, возможно, именно из-за символической силы одного только его имени (или, наоборот, благодаря ей) она остаётся во многом неисследованной.

Как получилось, что человек, которого в детстве общество оттолкнуло на обочину («человек без значения», как его называют противники в Коране), смог перевернуть свой мир? Как младенец, отправленный прочь от своей семьи, вырос и переосмыслил саму концепцию семьи и племени, превратив её в нечто гораздо большее — *умму*, народ или общину ислама? Как торговец стал радикальным мыслителем, переосмыслившим как Бога, так и общество, бросив прямой вызов установленному социальному и политическому порядку? Как человек, изгнанный из Мекки, превратил своё изгнание в новый и победоносный старт, чтобы всего через восемь лет вернуться как национальный герой? Как он смог достичь такого успеха вопреки всем препятствиям?

Ответы на такие вопросы требуют привилегии биографа, чья задача заключается не только в том, чтобы проследить ход событий, но и в том, чтобы раскрыть их смысл и значение. Это означает соединение сложных элементов жизни Мухаммада, создание трёхмерного портрета, который не столько противоречит «официальной» версии, сколько расширяет её.

Великий британский философ и историк Р. Г. Коллингвуд утверждал в своей работе «Идея истории», что для того чтобы писать о какой-либо исторической личности, нужны как эмпатия, так и воображение. Но он не имел в виду выдумывание историй из воздуха, а использование известных фактов, их исследование в полном контексте времени и места, следуя нитям истории до тех пор, пока они не начнут переплетаться и не создадут плотную ткань реальности. Если мы хотим понять динамику жизни, которую можно назвать не иначе как выдающейся, — жизни, которая радикально изменила его мир и продолжает формировать наш, — мы должны дать Мухаммаду право на реальность и увидеть его целостно.

Его история — это необычайное слияние человека, времени и культуры, и она ставит кажущеся простым, но в действительности сложное вопрос: почему именно он? Почему Мухаммад, в VII веке, в Аравии?

Одни только эти вопросы способны напугать и одновременно вдохновить. С одной стороны, они ведут прямо в минное поле глубоко укоренившихся убеждений, невольных предрассудков и культурных допущений. С другой — они позволяют нам увидеть Мухаммада ясно и понять, как он прошёл путь от беспомощности к власти, от безвестности к известности, от незначительности к вечной значимости.

Основными проводниками через его жизнь остаются две ранние исламские хроники: обширная биография, написанная в VIII веке в Дамаске ибн Исхаком, на которую опираются все последующие биографии, и более политически направленная история раннего ислама, созданная аль-Табари в IX веке в Багдаде. Эта работа насчитывает внушительные тридцать девять томов в переводе, из которых четыре посвящены жизни Мухаммада.

Эти ранние историки отличались добросовестностью. Их авторитетность заключалась в их стремлении к полноте. Они писали спустя время, работая с устной историей, полностью осознавая, как время и благочестие искажают память, размывая границу между тем, что было, и тем, что должно было быть. Если они ошибались, то намеренно в пользу тщательности, а не суждения. Читая их работы, чувствуешь их осознание того, что они балансируют между ответственностью перед историей с одной стороны и традицией с другой. Этот деликатный баланс между историей и верой идёт рука об руку с их признанием неуловимости окончательной истины — качества столь же ускользающего в наш гипердокументированный мир, как и в их устной традиции. Вместо того чтобы стремиться к всеведению, они включали противоречивые рассказы и оставляли читателю право самому решать, чему верить, хотя и указывали на свою точку зрения. Например, в работе ибн Исхака часто встречаются фразы вроде «говорят, что» или «мне поведали». А когда несколько свидетельств очевидцев противоречат друг другу, он нередко подытоживает: «Что из этого верно, знает только Бог», — что звучит почти как беспомощное «Одному лишь Богу известно!»

Возможно, единственная другая жизнь, о которой написано столько же, но которая всё ещё остаётся загадкой, — это жизнь Иисуса. Однако благодаря усилиям исследовательских групп, таких как Семинар Иисуса, в последние десятилетия появились новые исследования, выходящие за рамки буквального текста Евангелий, создавая не только более человеческий портрет, но и более глубокое понимание его влияния. Эти учёные углубились не только в теологию, но и в историю, политологию, сравнительное религиоведение и психологию, выявляя радикальную политическую значимость послания Иисуса. Рассматривая его в полном контексте времени, они сделали его не менее, а более актуальным для нашего времени.

Параллели между Мухаммадом и Иисусом поразительны. Оба были движимы сильным чувством социальной справедливости; оба подчеркивали непосредственный доступ к божественному; оба бросали вызов установленным властным структурам своего времени. Как и в случае с Иисусом, теология и история идут рука об руку в любом рассказе о жизни Мухаммада: иногда параллельно, как рельсы поезда, а иногда расходясь далеко в стороны. Рассказы о чудесах изобилуют в священном предании, созданном теми, кто ценит то, что должно было случиться, даже если этого не произошло. Несмотря на настойчивое отрицание чудес в Коране, существует глубоко человеческая потребность в них и в том, чтобы теология требовала веры в невероятное — а порой и в невозможное — как испытание приверженности.

Консервативная исламская традиция, таким образом, утверждает, что Мухаммад изначально был предназначен быть посланником Бога. Но если это так, то история его жизни перестаёт существовать. Она становится просто предопределённым свершением божественной воли и, следовательно, лишённой конфликта и напряжения. Для некоторых благочестивых верующих этого более чем достаточно; исключительность пророка — аксиома, а любая биография становится неактуальной. Но для многих других важным оказывается не чудесное, а человечески возможное. Жизнь Мухаммада — одна из тех редких, что в реальности драматичнее, чем в легендах. На самом деле, чем меньше упоминаются чудеса, тем более невероятной становится его жизнь. Возникает нечто большее именно потому, что это человеческое, в той мере, в какой его реальная жизнь заслуживает слова «легендарная».

Его история следует классической дуге, которую Джозеф Кэмпбелл назвал «путешествием героя», от скромного начала к невероятному успеху. Но это путешествие никогда не бывает лёгким. Оно включает борьбу, опасности и конфликты — как с самим собой, так и с окружающими. Опускание спорных аспектов жизни Мухаммада не служит ему доброй службой. Напротив, если мы хотим увидеть его живым и сложным человеком, мы должны рассмотреть его целиком. Это значит занять, так сказать, агностическую позицию, отбросив как благочестие и почтение с одной стороны, так и стереотипы и осуждение с другой, не говоря уже о мёртвой тяжести излишней осторожности. Это значит найти человеческий рассказ о человеке, балансирующем между идеализмом и прагматизмом, верой и политикой, ненасилием и насилием, ловушками признания и опасностями отвержения.

Переломным моментом его жизни, несомненно, стала та ночь на горе Хира. Именно тогда он вступил в то, что многие считают его судьбой, и именно поэтому мусульмане называют эту ночь *лейлат аль-кадр*, Ночью Могущества. Это определённо момент, когда он вошёл в историю, хотя и это слово может быть обманчивым. Оно подразумевает, что история Мухаммада принадлежит прошлому, тогда как на самом деле её влияние так велико, что это скорее вопрос текущих событий, чем истории. То, что произошло «тогда», является неотъемлемой частью того, что происходит сейчас, главным фактором в огромной и часто пугающей области, где пересекаются политика и религия.

Чтобы начать понимать этого человека, который боролся с ангелом на вершине горы и сошёл, обожжённый этой встречей, мы должны спросить не только о том, что случилось той ночью на Хира и к чему это привело, но и что привело его к этому моменту. Особенно потому, что с самого начала, несмотря на легенды, знаки были неутешительными. Действительно, любой объективный наблюдатель мог бы заключить, что Мухаммад был крайне маловероятным кандидатом в пророки, поскольку звёзды, под которыми он родился, казались отнюдь не благоприятными.

## **Вторая глава**

Если верить в знамения, тот факт, что Мухаммад родился сиротой, нельзя назвать благоприятным. Большинство биографов обходят этот момент стороной, как будто это всего лишь причуда судьбы, не стоящая внимания. Однако его сиротство несёт на себе психологический груз, который часто определяет ход истории. Особенно если верить легенде о его рождении: он мог бы и вовсе не родиться. Всего за несколько часов до его зачатия его дед едва не убил его отца. И словно отцу было позволено жить лишь для выполнения своей единственной роли, он вскоре умер вдали от дома, так и не узнав, что у него родился сын.

Дедом Мухаммада был Абд аль-Мутталиб, почтенный лидер правящего племени курайшитов и ключевая фигура в короткой, но яркой истории Мекки. Молодым человеком он откопал колодец Замзам, пресноводный источник у святилища Каабы, который привлекал паломников со всей Аравии. Слухи о существовании источника ходили с незапамятных времен. Некоторые говорили, что этот источник впервые обнаружила Агарь после рождения Измаила, а затем им воспользовался Авраам, пока колодец не был заброшен и засыпан, а его местоположение не было забыто. Абд аль-Мутталиб заново открыл этот источник, и, как утверждают легенды, это сопровождалось множеством чудес. Одни рассказывали, что вход к источнику охраняла змея, настолько свирепая, что никто не осмеливался подойти, пока огромный орёл не подхватил её и не унёс в небо. Другие утверждали, что в колодце были найдены несметные сокровища: изысканные мечи, украшенные драгоценными камнями, или газели в натуральную величину, отлитые из чистого золота. Но самая жуткая история напоминает знакомый библейский сюжет о почти принесённом в жертву сыне Авраама.

Поскольку именно он заново открыл Замзам, Абд аль-Мутталиб заявил, что прибыльная монополия на обеспечение паломников водой из этого источника принадлежит его клану Хашим, одному из четырёх основных родов, объединённых в племя курайшитов. Конечно, в Мекке были и другие источники, но ни один не был так удобно расположен, ни один не давал такой сладкой воды, ни один не имел столь мощной легенды. Поэтому неудивительно, что лидеры других кланов курайшитов оспорили его притязания на контроль над этим источником, ставя под сомнение как его мотивы, так и его честь. Однако их поразила его реакция. Абд аль-Мутталиб заставил критиков замолчать ужасной клятвой. Он поклялся, что если у него будет десять сыновей, которые доживут до зрелого возраста, чтобы защищать его и поддерживать честь Хашимов, он принесёт одного из них в жертву прямо там, в открытом пространстве вокруг Каабы, рядом с источником.

Эта клятва заставила его противников замолчать. Идея человеческой жертвы была ужасна, особенно потому, что она, как считалось, закончилась с легендарной историей об Аврааме и Измаиле. Разве не поэтому, как утверждали, единственным предметом в запретном внутреннем пространстве Каабы были рога барана, заменившего Измаила в том первозданном акте жертвоприношения? Кроме того, было совершенно очевидно, что десять сыновей станут необычайным знаком божественного благоволения. Независимо от того, сколько у мужчины было жён, высокая смертность среди младенцев и риск гибели женщин при родах делали такие богатства потомства почти невозможными. Однако к 570 году у Абд аль-Мутталиба действительно было десять сыновей. И, по словам ибн Исхака, они были необычайно великолепны. «Не было никого более выдающегося и величественного, с более благородным профилем, с носами столь длинными, что нос пил воду прежде губ», — писал он, воспевая черту, столь восхищавшую в обществе, где курносые носы презирали, считая их столь же женственными, как и бледную кожу византийских греков, которых насмешливо называли «жёлтыми людьми».

Пришло время Абд аль-Мутталибу исполнить свою клятву. Он ведь дал слово чести. У него не было выбора, если он хотел сохранить свою репутацию. Единственным вопросом оставалось, какого из сыновей принести в жертву. Поскольку это был невозможный выбор для любого отца, решение должно было быть принято традиционным способом. Он обратился к тотемному символу племени курайшитов: священному камню Хубал, возвышающемуся рядом с Каабой, который служил своего рода жертвенным алтарём. У подножия этого камня приносились клятвы, заключались сделки, в его тени торжественно произносились обеты дружбы и мести. Когда необходимо было принять трудное решение или разрешить неразрешимый спор, этот камень становился оракулом. Если обратиться к нему правильно, Хубал выражал волю Бога — аль-Лаха, буквально «Высшего», великого властелина святилища, настолько далёкого и таинственного, что к нему можно было обратиться только через посредников.

Чтобы не оставалось сомнений в том, что дело касалось жизни и смерти, Хубал говорил через стрелы. Каждая из них была помечена опцией, подходящей для конкретного случая. Если, например, возникал вопрос о времени действия, использовались три стрелы с надписями «сейчас», «позже» или «никогда» или с указанием определённых сроков, таких как «сегодня», «через семь дней», «через месяц». После этого совершались призывы и приносилась жертва — козёл или даже верблюд — и, наконец, жрец Хубала связывал стрелы вместе, ставил их на землю, направляя вверх, а затем, почти так же, как древние китайцы обращались к И-Цзину с помощью тысячелистниковых стеблей, отпускал их.

Какая бы стрела ни упала, указывая наиболее прямо на Хубала, её надпись становилась решающей. На этот раз было десять стрел, каждая из которых была помечена именем одного из десяти сыновей. Весь город собрался, чтобы стать свидетелем церемонии, одновременно охваченный волнением и ужасом из-за того, что стояло на кону. Шёпот ожидания нарастал, превращаясь в громкий гул, пока не наступила внезапная тишина, когда жрец бросил стрелы.

Все придвинулись ближе, желая первыми услышать имя, указанное на стреле, указывающей на огромный камень. И когда имя было объявлено, по толпе пронёсся вздох ужаса. С неизбежностью греческой трагедии стрела, указывающая на Хубала, была помечена именем самого младшего и любимого сына Абд аль-Мутталиба — Абдаллаха.

Если бы борода отца не была бы седой, она поседела бы в этот момент. Но у него не было выбора. На кону стояла не только его собственная честь, но и честь его клана — Хашимов. Остальные сыновья застыли на месте, пока их отец готовился убить их брата. Ведь сыновьям не подобало ставить под сомнение волю отца, к тому же каждый из них, возможно, испытал облегчение от того, что выбор пал не на него.

Если они всё ещё надеялись на неожиданное вмешательство Хубала в последний момент, этого не произошло. Они пришли в себя только тогда, когда Абд аль-Мутталиб уже приказал Абдаллаху опуститься на колени перед ним и взял в руку нож.

Возможно, это не то, что намеревался сказать Хубал, наконец рискнули предположить они. Его воля могла быть более тонкой, чем кто-либо из них способен был понять. Разве не стоило попробовать обратиться за советом к *кахину* — одному из немногих жрецов-провидцев, чьё название в арабском эквивалентно еврейскому *коэну*, — которые могли входить в духовные трансы и понимать тайну знаков? И если уж обращаться, то кто мог быть лучше, чем одна из самых почитаемых провидиц во всей Аравии? Эта женщина, известная просто как *кахина* (жрица), жила не в Мекке, а в оазисе Медины, в двухстах милях к северу. Само расстояние делало Медину по сути другим миром, что давало гарантию её объективности. Духи, говорившие через неё, принадлежали другому народу — не племени курайшитов, а хазраджам. А поскольку только духи могли понять друг друга, её духи могли пролить новый свет на приговор Хубала и, возможно, освободить Абд аль-Мутталиба от его ужасной клятвы. «Если кахина прикажет тебе принести в жертву Абдуллаха, ты сделаешь это, — уговаривали его другие сыновья. — Но если она прикажет что-то, что принесёт облегчение, ты будешь вправе принять это».

Отец и сыновья оседлали самых быстрых верблюдов и через семь дней были в Медине, неся дары для *кахины* и её духов. Они с тревогой наблюдали, как её глаза закрылись, и она впала в транс; ждали, пока её тело содрогалось от силы невидимой встречи; затаив дыхание, слушали невнятные шёпоты и нечеловеческие стоны, вырывавшиеся из её губ. Затем наступила долгая напряжённая тишина, когда она наконец успокоилась. Её глаза открылись и медленно вернулись в этот мир, и, наконец, к ней вернулась способность человеческой речи.

Но не с ожидаемыми словами мудрости, а с неожиданным и странно практичным вопросом: «Какова обычная сумма кровавого выкупа за жизнь человека в Мекке?» «Десять верблюдов», — ответили они. Она кивнула, словно знала это заранее. «Возвращайтесь в свою страну, — сказала она. — Выведите юношу и десять верблюдов перед священным камнем и снова бросьте стрелы. Если стрелы укажут на юношу, добавьте ещё десять верблюдов и сделайте это снова. Если стрелы снова укажут на него, добавьте ещё десять и повторите. Продолжайте добавлять верблюдов таким образом, пока ваш бог не будет удовлетворён и не примет верблюдов вместо юноши». Они поступили так, как сказала *кахина*, добавляя по десять верблюдов при каждом новом броске стрел против Абдаллаха. Снова и снова оракул выносил приговор против него, и только когда было предложено сто верблюдов, стрелы наконец указали на них. Это было поразительное число, которое всколыхнуло весь город. Люди обсуждали не только спасение Абдаллаха, но и то, что его жизнь оказалась ценнее в десять раз, чем жизнь любого другого мужчины.

В тот вечер Абд аль-Мутталиб устроил праздник. Ему не нужен был Фрейд, чтобы осознать глубокую связь между Эросом и Танатосом, жизненной силой и силой смерти. Он тут же решил отметить то, что его любимый сын получил новый шанс на жизнь, тем, чтобы эта жизнь была продолжена. В течение нескольких часов после того, как верблюды были принесены в жертву, он уже руководил свадьбой отца и матери Мухаммада — Абдаллаха и Амины.

Некоторые клялись, что на лбу Абдуллаха была вспышка белого света, когда он в ту ночь направлялся к своей невесте, и что утром, когда он вышел, её уже не было. Была вспышка или нет, но Мухаммад был зачат в ту ночь или одну из двух следующих. Через три дня Абдуллах отправился с караваном в Дамаск, но умер по дороге обратно, в Медине, за десять дней до возвращения домой. Если кто-то находил иронию в том, что он умер близ той самой *кахины*, которая спасла ему жизнь, никто не высказывал этого. Всё-таки тяжёлые караванные переходы на сотни миль через пустыню регулярно уносили человеческие жизни. Несчастный случай, инфекция, укус скорпиона, змеиный яд, болезнь — всё это и многое другое было обычным делом в таких путешествиях. Точная причина смерти Абдуллаха не записана. Всё, что мы знаем, это то, что он был похоронен в безымянной могиле, оставив свою жену вдовой, а единственного ребёнка — сиротой ещё в утробе матери.

Как и в большинстве историй о рождении героев, эта история имеет двойственный характер. Логика легенд редко бывает милосердной, и даже если она придаёт Мухаммаду благородный статус, одновременно она его и лишает. Она настаивает на том, что он родился в самом центре мекканского общества, с глубокими кровными узами через своего отца и деда, связанными с ключевыми событиями создания города. Но в то же время эта история отодвигает его на периферию. Пытаясь создать чудесный аспект его рождения, она, напротив, подчёркивает, что, возможно, стало центральной экзистенциальной темой его жизни: в обществе, где отцы играли важнейшую роль, он родился без отца. А шестой век в Мекке не был добр ни к вдовам, ни к сиротам.

Родиться без отца означало родиться без наследства и без надежды на него. Сын не мог унаследовать имущество, пока не достигал зрелости; если отец умирал до этого момента, всё его имущество переходило к взрослому мужчине из числа родственников, который принимал на себя ответственность за оставшуюся семью. В традиционном племенном обществе эта система работала хорошо. На основании предположения, что личного богатства не существует, а есть только благо племени, она обеспечивала, чтобы ни один член племени не был заброшен, и забота о каждом была гарантирована. Однако в эпоху процветающей Мекки, обогащённой караванной торговлей и управлением паломничеством к святилищу Каабы, старые ценности были серьёзно подорваны. За считанные десятилетия богатство сосредоточилось в руках немногих. Каждый был сам за себя, а сирота, каким бы знатным ни было его происхождение, считался скорее бременем, чем благословением.

По крайней мере, пол ребёнка давал некоторую защиту. Если бы Мухаммад родился девочкой, его могли бы оставить в пустыне на съедение стихии или хищникам, а то и тихо задушить при рождении, поскольку акцент на наследниках-мужчинах приводил к тому, что уровень детоубийств девочек был столь же высок в Мекке, как в Константинополе, Афинах или Риме — практике, на которую Коран впоследствии укажет прямо и неоднократно осудит. Но даже в качестве мальчика судьба Мухаммада казалась предопределённой. Его мекканские противники позже назовут его «никем». И эта судьба, казалось, лишь подтверждалась тем фактом, что первые пять лет своей жизни он провёл вдали от Мекки, под опекой той, кого элита курайшитов считала ещё одним «никем»: бедуинской кормилицей, далеко от цивилизованного общества.

Это был год засухи, и, как ни странно, это оказалось удачей для Мухаммада, поскольку отсутствие дождя привело в Мекку молодую женщину по имени Халима, которая искала младенца для вскармливания. Без неё он, возможно, не пережил бы младенчества.

Говорить о засухе в пустыне может показаться излишним, но немногие районы в мировых пустынях вообще не получают осадков. Большинство, как степи северной и центральной Аравии, получают несколько дюймов дождя в год. Внезапные зимние ливни, какими бы краткими они ни были, за считанные часы превращают пересохшую пустынную почву в море зелёной растительности: семена, находящиеся в спячке, оживают благодаря влаге, чтобы дать корм для скота. Но в некоторые годы, как в этот, даже эти краткие зимние дожди не приходили. Как далеко бы бедуины ни уводили свои стада коз и верблюдов, пастбищ не находилось, и ничего не оставалось, кроме как смотреть, как животные худеют, их вымя высыхает, и молоко исчезает. В самые тяжёлые засухи, когда дожди пропускали два или даже три года подряд, скот погибал, и кочевники вынужденно перемещались к окраинам таких поселений, как Мекка. Там они превращались в низший класс дешёвой рабочей силы — гордые люди, вынужденные просить работы. Можно даже сказать, что они опускались до уровня рабов, за исключением того, что рабы, по крайней мере, находились под защитой своих владельцев.

Как и многие бедуинки, Халима избежала этой участи, нанимаясь кормилицей. Это было то, чем бедные женщины занимались для богатых повсюду в мире того времени. Так продолжалось вплоть до двадцатого века, когда широкая доступность детских смесей и разрушение традиционного сельского уклада сделали вскармливание кормилицей устаревшим в большинстве обществ, заменив его няньками и интернатами. Но до тех пор, начиная с древнебиблейских времён и вплоть до эпохи греческих и римских империй, тёмных веков, Ренессанса и Просвещения, дети из богатых городских семей регулярно отправлялись к кормилицам в деревню до времени отлучения. Это было отчасти вопросом статуса — «так принято», — но также и служило интересам богатых весьма определённым образом.

Основной ролью аристократической жены было рождение наследников мужского пола. Однако при столь высокой младенческой смертности, что едва ли половина всех новорождённых доживала до взрослого возраста, это было непросто. Очевидно, шансы повышались, если жена чаще беременела, а потому важно было, чтобы она вновь становилась плодовитой как можно скорее после родов. Поскольку кормление грудью подавляет овуляцию, лучшим способом обеспечить это было поручить кормление младенца другой женщине. (Обратная сторона заключалась в том, что у женщин из низших классов, таких как бедуинки, рожающие для богатых, было гораздо меньше беременностей. Угрюмый стереотип высшего класса о низшем, «размножающемся как кролики», на самом деле был обратным: именно высший класс был теми, кто активно производил потомство, а низший класс — теми, кто его вскармливал.)

По её собственному признанию, Халима была одной из самых бедных бедуинок, пытавшихся найти младенца для вскармливания в конце весны 570 года. Она была из полукочевого племени, едва сводившего концы с концами в сухих степях за горами, к востоку от Мекки. Как и все, кто жил на грани выживания, её племя боролось за существование. Даже её осёл был слабым и исхудавшим. Её грудь почти не давала молока, так что её собственный младенец плакал ночами от голода.

Она знала, что представляла собой не слишком хороший выбор для знатных мекканцев, ищущих здоровую кормилицу, но всё же пыталась, с завистью наблюдая, как другие женщины из её группы находили младенцев для вскармливания, пока выбор стремительно сокращался. Скоро «все женщины, с которыми я пришла в Мекку, уже получили младенцев на вскармливание, кроме меня», — вспоминала она. Оставался лишь один ребёнок, но «каждая из нас отказывалась, когда узнавала, что он сирота, потому что мы хотели получить оплату от отца ребёнка. Мы говорили: "Сирота? Без отца, который бы заплатил нам?" И потому отвергли его».

Халима явно ничего не слышала о вещах, о которых люди позже клялись: о вспышке белого света на лбу Абдуллаха в ночь его свадьбы с Аминой или о том, как её беременный живот, по слухам, светился настолько ярко, что «при его свете можно было видеть замки Сирии». Такие истории начнут распространяться лишь через сто лет. Для Халимы и других кормилиц это был просто младенец, которого никто не хотел. Даже его дед. Хотя формально Амина и её новорождённый сын находились под защитой главы клана Хашимов, стареющий Абд аль-Мутталиб, по-видимому, считал судьбу ещё одного внука, да ещё и сироты, не своей заботой. Конечно, он не был готов платить за два года вскармливания, необходимых до его отлучения. Ни Амина, ни Халима, разумеется, не имели под рукой статистики, но обе знали, что в городе у любого ребёнка шансы выжить до взрослого возраста были невелики, если его не отправить на вскармливание к кормилице. На самом деле выжить в младенчестве до появления современной медицины уже само по себе считалось достижением. Так, например, в период расцвета Римской империи лишь треть родившихся в этом городе доживала до пятого дня рождения. А записи восемнадцатого века в Лондоне показывают, что более половины рождённых умирали к шестнадцати годам. Будь то Париж или Мекка, простой гнилой зуб или заражённая рана могли стать причиной смерти. Болезни, недоедание, уличное насилие, несчастные случаи, осложнения при родах, загрязнённая вода и испорченная еда, не говоря уже о войнах, — всё это было причиной того, что едва десять процентов людей доживали до сорока пяти лет. Только в начале двадцатого века, когда была осознана роль микробов и впервые появились антибиотики, продолжительность жизни начала расти до уровней, которые мы теперь принимаем как должное.

Одна статистика выделяется из этого мрачного списка: во всём мире младенческая выживаемость в сельских районах была выше, чем в городах. Если точные причины этого не были понятны, то сама концепция свежего воздуха была очевидна. Города не были здоровыми местами для жизни, и даже с новым процветанием шестого века Мекка не была исключением. В разгар лета, когда дневные температуры стабильно превышали сто градусов по Фаренгейту, воздух едва можно было назвать пригодным для дыхания. Дым от кухонных очагов удерживался кольцом гор, окружающих город. Над мусорной свалкой на окраине города, известной как «гора дыма», кружили стервятники. Это была зловонная свалка, где гниющие отходы издавали смрад. Ночью по ней рыскали гиены, рывшие землю в поисках еды, и их вой эхом разносился по узким улочкам города. Без системы канализации и водопровода инфекции распространялись быстро. Ранее в этом же году, когда родился Мухаммад, в Мекке произошла одна из локальных вспышек оспы, которая опустошала Ближний Восток, словно по капризу, исчезая так же внезапно, как появлялась. Города, таким образом, были опасным местом для уязвимых новорождённых, и Амина, должно быть, отчаянно пыталась найти кормилицу, которая бы увезла её единственного сына в безопасность высокогорных пустынь. Почему же Амина согласилась на такую малопривлекательную кандидатуру, как женщина, у которой едва хватало молока для собственного ребёнка, не говоря уже о чужом? И, что не менее важно, почему Халима согласилась взять на воспитание сироту?

Может быть, она уступила, потому что не хотела возвращаться без младенца, как единственная из своей группы. Может быть, она взяла его из жалости или по доброте души, или же из упрямства деревенской гордости: она пришла за младенцем и была достаточно настойчива, чтобы не уйти без него. Она определённо не претендовала на особую проницательность. Как она позже рассказывала: «Когда мы собрались уезжать, я сказала своему мужу: "Клянусь Богом, мне не по душе возвращаться без ребёнка; я пойду и возьму этого сироту." Он ответил: "Делай, как считаешь нужным. Может быть, Бог благословит нас благодаря ему." И я пошла назад и взяла его только потому, что не смогла найти другого младенца».

Эта история перекликается с историями о христианском Рождестве. Халима и её муж выступают как смиренные пастухи. Пусть нет здесь сказаний о волхвах, дары приносящих, о кометах, проносящихся по ночному небу, или о параноидальной мести жестокого правителя народная вера всё равно требует своих знамений. И вот в тот момент, когда Халима решает взять Мухаммада, тон её речи, как передаёт ибн Исхак, меняется. Болтливый стиль, обмен репликами с мужем, жалкое состояние её осла — всё это исчезает, и её история превращается в рассказ о чуде. Её грудь наполняется молоком, как и вымя верблюдицы, которую они привели с собой, так что Халима и её семья теперь могли пить сколько угодно верблюжьего молока. Осёл вдруг становится сильным и быстрым, а когда они возвращаются в своё поселение в высоких пустынях, их овцы и козы начинают процветать, давая небывалое количество молока, несмотря на продолжающуюся засуху. Для Халимы было очевидно, что её решение взять Мухаммада принесло её семье божественное благословение. Или, по крайней мере, это стало очевидным задним числом, к тому времени, когда она рассказала эту историю — или же к тому времени, как она была дополнена в пересказах другими людьми, превращена в апокрифический рассказ, как того требовали благочестие и почтение, подобно тому, как рассказы о младенчестве Иисуса стали и остаются сокровищем народной веры.

Что-то в нас до сих пор верит, что в акте грудного вскармливания есть гораздо больше, чем просто питание и антитела. В древнем Риме, например, считалось, что младенец, вскармливаемый греческой кормилицей, впитает её язык вместе с молоком и вырастет, говоря по-гречески так же, как по-латыни (что часто и происходило, поскольку ребёнок был окружён звучанием греческого языка в первые два года своей жизни).

Сегодня мы говорим о физиологии и психологии связи между матерью и ребёнком, но также склонны считать грудное вскармливание более аутентичным, чем использование детских смесей, придавая ему и моральную ценность как более подлинному и естественному. В этом отношении мекканцы шестого века могли быть не так уж далеки от нас. Они верили, что в молоке бедуинок-кормилиц заключена некая первобытная, земная жизненная сила, и что эта сила простирается далеко за пределы физического. Амина видела это так: вместе с молоком Халимы её сын впитает подлинность — саму сущность того, что значит быть сыном пустыни или, как называли бедуинов мекканцы, арабия, арабами.

Честь, гордость, верность, независимость, стойкость перед трудностями — всё это было сердцем бедуинской культуры, воспеваемой в длинных эпических поэмах. Эти поэмы считались самой ценной формой развлечения на всём Аравийском полуострове — как при королевских дворах, где избалованным бардам платили кошельками с золотом, так и в палатках из верблюжьей шерсти, где дети засыпали под ритмическую колыбельную из стихов, которые напевали старейшины. Если большинство людей не умели ни читать, ни писать, это не означало, что они были нечувствительны к слову. Напротив, устная культура отличалась страстью к языку, к его музыке и величию в руках мастера. То, что людям не хватало грамотности, с лихвой компенсировалось их памятью. Часами поэмы декламировались наизусть — и это выражение было более чем уместным, ведь память в таких культурах исходила прямо из сердца. Барды оплакивали предков, чьи племена практически исчезли в тумане истории. Они воспевали великие битвы, которые, как сказывали, происходили среди созвездий на ночном небе, а также те, что велись на земле, но уже за пределами человеческой памяти. Они увековечивали легенды о героях, дух самопожертвования которых ради общего блага внушал глубокое уважение. В результате был создан литературный канон, столь мощный, что наиболее известные произведения, такие как семь золотых од, до сих пор являются классикой арабской литературы. Это эпические повествования, наполненные подробностями о сексуальной удали, приключениях, бросающих вызов смерти, боли утраченного величия и тоске по потерянной любви.И если мотив утраты звучал снова и снова, это делало произведения ещё более проникновенными и запоминающимися.

Для городской элиты Мекки бедуинская поэзия воплощала всё, чем они хотели быть, но втайне осознавали, что не являются. Их страсть к этим произведениям подпитывалась ностальгией: тоской по романтизированной идее былой чистоты, по строгому моральному кодексу, не затронутому требованиями торговли и прибыли. Бедуинский воин был проще, честнее, олицетворяя время, более достойное уважения. Так же как Европа XVIII века романтизировала жизнь пастухов, а Америка XX века идеализировала силу и стойкость ковбоя из фильмов с Джоном Уэйном, мекканцы VI века видели в бедуинах человеческий фундамент Аравии.

Но настоящие пастухи и пастушки, как и настоящие ковбои, были совершенно иными. Какими бы чистыми и благородными ни были их корни, реальных, из плоти и крови бедуинов в настоящем считали примитивными. Выражения «грубые бедуины» и «бедуинская чернь» часто встречаются в ранних исламских хрониках, всегда из уст привилегированных горожан, которые видели в тех, кто всё ещё жил в шатрах, неотёсанных простаков, всего лишь пастухов коз и верблюдов, годных для ухода за детьми или в качестве проводников караванов, но не более того. Для большинства мекканской аристократии бедуины были неудобным напоминанием о том, что, несмотря на весь их городской лоск, сами они, как говорится, ушли с «фермы» всего пять поколений назад.

Однако Мекка не могла существовать без них. Она полагалась на них не только в вопросах чистокровных скакунов и верховых верблюдов, но и в обеспечении мулами и вьючными верблюдами, без которых торговые караваны никогда бы не смогли преодолевать сотни засушливых миль, превращая город в крупный центр торговли.

Бедуины также производили животноводческую продукцию, жизненно необходимую в повседневной жизни: всё — от упряжи и седел до одежды и одеял, консервированных молочных и мясных продуктов, сандалий и бурдюков для воды. Горожане и кочевники были связаны симбиотическими отношениями, которые обе стороны одновременно ценили и ненавидели. Со стороны мекканцев это было чем-то похожим на то, как американская политическая риторика всё ещё воспевает «сердце страны», даже считая его актуальным только во времена выборов, когда всем кандидатам на политические посты, если это возможно, нужно вспоминать своих дедов, живших тяжёлой жизнью в глубинной Америке, восхваляя предполагаемые добродетели тяжёлого труда, упорства и бережливости. Если мекканцы ценили бедуинское прошлое, даже отказываясь от его ценностей, то они были не более двойственны в этом отношении, чем их современные западные аналоги.

Таким образом, было совершенно естественно, что Мухаммад провёл первые пять лет своей жизни среди бедуинов. Как и они, он был одновременно ценным и игнорируемым, центральной фигурой и одновременно находился на периферии. Как те римские младенцы, слышавшие греческую речь, а затем говорившие на этом языке, он впитывал бедуинские ценности так же естественно, как легендарное материнское молоко. Уважение к силе и таинственности окружающего мира, идея коллективной собственности, где личное богатство было лишено смысла, музыка и величие поэзии и истории, звучащие в его снах, — всё это и многое другое стало основой личности, которой он должен был стать, и неизбежно поставило его в противоречие с городом, в котором он родился.

## **Третья глава**

Халима приняла маленького Мухаммада, несмотря на то что он был сиротой, но именно это обстоятельство стало причиной, по которой он оставался с ней гораздо дольше, чем положенные два года. Однако принятое объяснение гласит другое, то, что сама Халима называла причиной: её семья считала, что ребёнок приносит удачу, позволяя им процветать даже во время засухи. «Мы видели в этом милость Божью на протяжении двух лет, пока я не отняла его от груди», — вспоминала она. «После этого мы вернули его матери в Мекку, хотя мы отчаянно хотели оставить его с нами из-за того счастья, которое он приносил. Я сказала ей: "Лучше оставить мальчика с нами до тех пор, пока он не станет старше и не будет защищён от болезней здесь, в Мекке", и мы настаивали, пока она не согласилась».

Легко представить хитроумные доводы крестьянки, убеждающей мать, что её сын будет в большей безопасности в пустыне, но не менее легко вообразить, как разрывающаяся от противоречий мать сжимает своего малыша в объятиях, разрываемая между желанием видеть его рядом и заботой о его здоровье и благополучии. Однако исторические записи не содержат таких сцен — это скорее фантазия XXI века, нежели реальность VI века. Ведь Амина, мать Мухаммеда, соглашаясь на продление пребывания своего единственного сына в кочевой семье Халимы и отправляя его обратно в пустыню, думала ведь не только о его здоровье и благополучии.

Горькая правда заключалась в том, что Амина не вышла замуж повторно. По традиции, молодая вдова, особенно в двадцать с небольшим лет и с новорождённым на руках, должна была очень быстро найти нового супруга. Один из братьев покойного мужа мог бы взять на себя эту обязанность. Даже в роли второй или третьей жены она бы обеспечила себе защиту и статус для ребёнка. Но в стремительно процветающей Мекке старые правила начинали рушиться. Формально Амина находилась под покровительством своего свёкра, Абд аль-Мутталиба, но после той трагедии, когда он едва не принёс в жертву собственного сына, предводитель Мекки стал быстро стареть. А с упадком его здоровья начал терять влияние и клан Хашимов. В то же время клан Умаййадов набирал силу. Какая выгода была в том, чтобы взять замуж Амину, да и еще усыновлять мальчика без наследства. Судьбой ей было предназначено остаться вдовой до конца своей жизни, а ее сыну, единственному ребенку, не имеющему даже полукровных сестер или братьев, быть отрезанным от сложных семейных связей, столь важных в обществе Мекки. У нее не было другого выбора, кроме как оставить Мухаммеда с приемной семьей, особенно учитывая, что те были согласны повременить с оплатой.

Мухаммада снова увезли через горы, и жизнь в кочевой пустыне глубоко проникла в его душу. «Дайте мне ребёнка до семи лет, и я дам вам человека», — говорил Франциск Ксаверий, один из основателей ордена иезуитов, предвосхищая открытия современной психологии на несколько веков. И так было с Мухаммадом: его детство в пустыне сыграло ключевую роль в том, кем он стал.

Известная чистота жизни в пустыне на самом деле была чистотой почти бедственного существования, где не было места излишествам. После отлучения от груди он ел обычную пищу бедуинов: верблюжье молоко с зерновыми и бобовыми, выращенными на зимних пастбищах. Это была скудная диета для скромного образа жизни, где мясо ели только по большим праздникам или в честь важного гостя. Не было ни изысканных сладостей, ни даже меда с финиками. Но если жизнь в пустыне была лишена удобств, она была здоровой — почти вся проводилась на открытом воздухе.

Высокогорная степь пустыни становилась уроком понимания силы природы и искусства жить с ней в гармонии: как выбрать правильное время для перехода с зимних пастбищ на летние и обратно, как найти воду там, где кажется, что её нет, как настроить длинные чёрные палатки из верблюжьей шерсти, чтобы они давали тень летом и сохраняли тепло зимними ночами. Каждый ребёнок делал ту работу, которую мог. Как только Мухаммад научился ходить, его отправляли пасти стада под присмотром одной из приёмных сестёр, Шаймы. Как это делают старшие дети в больших семьях, она носила его на бедре, когда его ноги уставали, и следила за ним. Он, в свою очередь, наблюдал за ней, учился обращаться с козами и верблюдами, становясь настоящим бедуином, за исключением одного: его всегда называли «Курайшитом», то бишь тем, кто из племени Курайш.

Это имя было постоянным напоминанием о том, что, хотя он жил в семье Халимы, он не был их частью. Он принадлежал к другому миру, тому, что расположился за страшной горной грядой, которую справедливо называли Хиджаз, «преграда». Хотя Мекка находилась всего в пятидесяти милях, казалось, что она могла быть и на тысячу миль дальше. Бедуины говорили о Мекке с содроганием. Как вообще можно жить в таком месте, где люди замкнуты внутри стен, где нет простора для путешествий, а открытый горизонт скрыт горами? Тем не менее в их словах звучала неохотная признательность за экономическую зависимость от жителей городов, напоминанием о которой был сам Мухаммад.

К пяти годам он уже мог пасти стада самостоятельно. Он терпеливо ждал у колодца, пока верблюды, казалось, бесконечно пьют, и их горбы наполняются влагой. Он сражался со сном, охраняя ночами стада от гиен, воющих при запахе добычи, прислушивался к шороху лис в кустах или к тревожному беспокойству животных, когда неподалёку крался горные хищники, следы которых обнаруживались в пыли поутру. Никто не говорил ему, что пустыня — это урок смирения, лишающий всякой притворности и амбиций. Он чувствовал всей плотью, насколько огромен и жив мир и насколько мал в нём человек.

Даже обожжённые солнцем скалы пустыни, казалось, дышали, отдавая накопленное за день тепло холодному ночному воздуху. Под огромным звёздным куполом, который двигался над ним, каждое созвездие рассказывало свою историю, оставаясь равнодушным к мальчику, смотрящему снизу. Это был мир, населённый духами, осязаемыми присутствиями вокруг. Как иначе объяснить одинокое дерево, которое вопреки всему стояло прямо посреди безжизненной долины? Или огромный каменный монолит, выделяющийся, словно упавший сверху гигантской рукой? Или источник, скрытый глубоко в расщелине скалы, который внезапно начинал бурлить, когда ты склонялся над ним, чтобы напиться, словно он говорил с тобой? Духи этих мест, джинны, были непредсказуемыми, капризно способными на добро и зло. В любом случае они требовали уважения. Как христиане перекрестились бы для защиты от зла, так путники, разбивающие лагерь на ночь, произносили заклинание: «Сегодня я ищу убежища у властителя этой долины джиннов от любого зла, что здесь таится». Если бы ты вдруг решился воспринимать этот мир как нечто само собой разумеющееся, земля сама могла бы напомнить тебе о твоём безрассудстве: скала, которую ты считал столь прочной, начинала дрожать и трястись, даже стонать, не оставляя тебе места, где укрыться от того, что казалось гневом Бога.

В пустыне никто не нуждался в проповедях о том, что существует сила выше человеческой. Была ли эта сила естественной или сверхъестественной — в VI веке между ними не проводилось различий — любой, кто не осознавал этого, просто не выживал. Но как Мухаммад должен был выжить, когда весь его мир внезапно исчез? Без всякого предупреждения пятилетнего ребёнка оторвали от кочевых братьев и сестёр, которых он знал, перевезли через горы в город, который казался чужим, и передали матери, которую он едва помнил. Спустя полвека ему суждено будет вновь встретиться со своей приемной семьей.

Традиционная история о том, почему Халима вернула Мухаммада в Мекку, рассказывает о своебразной божественной операции на сердце. Ибн Исхак первым передаёт её в словах самой Халимы: «Он и его приёмный брат были с ягнятами за палатками, когда его брат прибежал к нам и сказал: “Двое мужчин в белых одеждах схватили моего курайшитского брата, повалили его и вскрыли ему живот, что-то там перемешивая”. Мы бросились к нему и нашли его стоящим, с ярко-красным лицом. Мы схватили его и спросили, что случилось. Он сказал: “Двое мужчин пришли, повалили меня, вскрыли мой живот и искали в нём что-то, чего я не знаю”».

Поздние версии этой истории приводят слова взрослого Мухаммада. В первой он не уточняет, сколько ему было лет: «Ко мне пришли двое мужчин с золотой чашей, полной снега. Затем они схватили меня, вскрыли мой живот, достали сердце и открыли его. Они вынули чёрную каплю из него и выбросили её, после чего промыли сердце снегом до полной чистоты».

Во второй, более изысканной версии, Мухаммад переносит это ангельское посещение уже не в детство, а в зрелые годы, когда он покинул Мекку и отправился в Медину. «Два ангела пришли ко мне, когда я находился в долине Медины, — говорил он. — Один из них спустился на землю, другой остался между небом и землёй. Один сказал другому: "Вскрой его грудь", а затем: "Извлеки его сердце". Он сделал это, достал сгусток крови, который был порчей Сатаны, и выбросил его. Затем первый сказал: "Очисти его сердце, как очищают сосуд, и его грудь, как очищают покров". После этого он вызвал *сакину*, божественный дух, у которого было лицо белой кошки, и положил её на моё сердце. Затем другой сказал: "Зашей его грудь". Они зашили мою грудь, поставили печать пророчества между моими плечами и ушли. Всё это время я наблюдал за ними, словно был сторонним наблюдателем».

С каждым новым повторением детали этой истории становятся всё более насыщенными: снег в пустыне, белое лицо божественного духа, диалог между ангелами — всё это делает сюжет похожим на сон. История постепенно утрачивает свои специфически арабские черты, вбирая элементы мировых легенд: греческих и египетских мифов о богах (золотая чаша, лицо кошки); христианских идей о Сатане, запечатлённом в сердце как чёрный сгусток; еврейского мистицизма (*сакина* как арабский аналог каббалистической *шехины*); и буддийской традиции (загадочная печать пророчества между лопатками). В конечном итоге событие принимает почти сюрреалистический образ.

Будучи мальчиком или взрослым, Мухаммед находил внутреннее спокойствие и почти безмятежность в этом событии, что контрастировало со страхом и ужасом последующих событий на горе Хира. Эта детская история должна была быть в биографии, созданной позже верующими, которым, несмотря на настойчивое отрицание чудес и знаков в Коране, хотелось видеть в нём чудотворца. Они требовали физического подтверждения его избранности и настаивали на том, чтобы Мухаммад соответствовал их ожиданиям о человеке, благословлённом свыше. Даже если это было противоречиво духу Корана, они опирались на традиции чудес, создавая осязаемый образ его чистоты, чудо, которое можно было представить и сохранить в памяти. В мире, где тайна была ощутимой, эта история казалась чем-то знакомым. Она перекликалась с другими историями, такими как яркий свет, озаривший лоб Абдуллы в ночь зачатия Мухаммада, сияние из утробы Амины или внезапное изобилие молока у Халимы.

Однако в версии самой Халимы — или по крайней мере той, что ей приписывают, — она и её муж не воспринимали этот случай как нечто сверхъестественное. Они не обратили внимания на рассказ своего сына о том, как он видел двоих мужчин в белых одеждах, вероятно, считая это плодом детского воображения. Будучи практичными людьми, они решили, что с ребёнком что-то не так. «Мы отнесли Мухаммада обратно в палатку, — вспоминала Халима, — и мой муж сказал: "Боюсь, что у этого мальчика был какой-то припадок, и нам следует вернуть его в Мекку, пока это не повторилось снова"». На самом деле, как она добавила, их беспокоило, что он мог быть одержим джинном, и что «с ним может случиться что-то дурное».

Смешно пытаться ставить диагнозы спустя века, основываясь на таких записях, и использовать эту явно чудесную историю как довод в пользу утверждения, что Мухаммад страдал эпилепсией, как это делают некоторые. Особенно, если учесть, что это было, судя по всему, разовым событием. Если бы он действительно страдал от эпилептических припадков, его многочисленные противники в Мекке наверняка использовали бы это против него. Однако, несмотря на все обвинения, которые они приводили против его проповеди — его называли выдумщиком, мечтателем, лжецом, колдуном, да чем угодно, но не эпилептиком.

В конечном итоге, самое важное значение этого ангельского вмешательства, вероятно, лежит в более приземлённой плоскости: оно служит как повествовательное средство. Это способ вернуть Мухаммада в Мекку, предоставляя более убедительное объяснение для мусульманских верующих, чем более вероятная причина его возвращения: поскольку положение Амины не улучшилось, Халима и её муж не видели возможности получить оплату за свои труды. В возрасте пяти лет Мухаммад стал ещё одним ртом, который нужно было кормить, и для семьи, живущей на грани выживания, он был лишним.

Ребёнок, которого Халима вернула его матери, был больше бедуином, чем курайшитом: худощавый, выносливый мальчик, лишённый той пухлости, которую обычно ассоциируют с детьми его возраста. Пустыня оставила свои следы на его руках, пересечённых тонкой сетью пыли, впитавшейся глубоко в поры, на его глазах, прищуренных от солнца и ветра, на его мозолистых ногах с широко расставленными пальцами и потрескавшимися пятками. Когда он въезжал в Мекку на измученном осле, он был олицетворением деревенского мальчика в большом городе, ошеломлённого наплывом запахов, звуков, красок и толпой людей в яркой одежде. Можно представить, как он прятался за юбку своей приёмной матери, входя в дом Амины, хотя более вероятно, что он стоял прямо и сдержанно, подражая стойкости, столь восхищаемой в пустыне.

Теперь ему предстояло спать за каменными стенами вместо мягкого тепла верблюжьей палатки, в одиночестве на циновке рядом с незнакомой матерью, вместо привычного уюта с приёмными братьями и сёстрами. Он должен был чувствовать себя зажатым между этими стенами, как всегда чувствуют себя бедуины. Его угнетала также и окружавшая Мекку цепь гор, создавая «котловину Мекки». Звёзды, которые в пустыне казались такими близкими, вдруг отдалились, скрытые дымом от готовки. Жажда чистого воздуха и свободы, которые были ему привычны, превращались в тоску, о существовании которой он и не подозревал. Он был знаком с уединением пустыни, но это было другое: не уединение — с таким количеством людей вокруг оно было невозможно, — а чувство изоляции.

Среди людей, которые, по идее, должны были быть его племенем, он чувствовал себя чужаком. Даже его речь выдавала в нём постороннего: бедуинский акцент и манеры становились предметом насмешек со стороны других мальчиков, пока он не научился подражать курайшитским. Как любой ребёнок, он жаждал быть принятым. В уголках его глаз появилась осторожность, а его улыбка стала сдержанной и настороженной. Даже десятилетия спустя, когда он стал предводителем своего народа, его редко видели смеющимся.

Он принадлежал к Курайшитам, к клану Хашим, но, казалось, его существование ничего не значило. В обществе, где твой статус определялся по отцовской линии, он был обречён всегда ощущать отсутствие отца. Даже если у него ещё не было слов, чтобы это выразить, он, должно быть, чувствовал, что ему придётся вновь и вновь доказывать своё право на существование, всегда задаваясь вопросом, на каких условиях и благодаря чьей милости он живет.

Такова была участь сироты: обычная детская свобода быть беззаботным никогда не станет его частью. Он никогда не знал лёгкости, когда можно что-то воспринимать как должное. Но именно это стало ключом к тому, кем он стал. Те, кто прочно устроился в жизни, как правило, не нуждаются в том, чтобы задаваться вопросами о её смысле. Они являются «внутренними» людьми, и для них всё, что есть, — это норма. Статус-кво настолько привычен, что он не только не подвергается сомнению, но даже не замечается. Однако те, чьё место в обществе неопределённо, кто чувствует себя неуютно в своей жизни, вынуждены спрашивать «почему». И зачастую они находят радикально новые ответы.

Психологи обратили внимание на удивительно длинный список выдающихся людей, которые осиротели в юности. Среди них Конфуций, Марк Аврелий, Вильгельм Завоеватель, кардинал Ришельё, поэт Джон Донн, лорд Байрон, Исаак Ньютон, Фридрих Ницше и, возможно, даже Иисус, поскольку Иосиф исчезает из Евангелий почти сразу после рождения Христа. Вопреки ожиданиям, ранняя утрата может стать стимулом к достижению успеха. Как отмечает один исследователь, осознание уязвимости может иметь парадоксальный укрепляющий эффект: «Вопрос морали и совести, который становится отличительной чертой творчества, появляется из чувства несправедливости, которое сирота испытывает в детстве и продолжает чувствовать во взрослой жизни», что в итоге превращается в «жажду самобытности, потребность оставить след в мире».

Если такая жажда существовала в Мухаммаде, то она удвоилась очень быстро. Остаются неизвестными причины, почему так долго Амина оставила своего сына на попечение бедуинов. Амина умерла слишклм рано, чтобы кто-либо мог узнать или записать ее историю. Возможно, желание Амины восстановить связь с сыном, или компенсировать его долгое отсутствие, побудило её взять его в Медину — путешествие длиной 200 миль на север, вскоре после того, как он был возвращён из семьи бедуинов

Мы знаем только, что, возвращаясь из Медины, Амина умерла в караванной стоянке Абва, на полпути между двумя городами. Мальчик, родившийся без отца, стал свидетелем смерти своей матери. Небольшой караван, с которым они путешествовали, доставил его обратно в Мекку, в дом его деда. В шесть лет он стал дважды сиротой, его единственным наследством было радикальное чувство неуверенности в своём месте в этом мире.

## **Четвертая глава**

Хадисы утверждают, что Мухаммад был любимцем своего деда. И это не удивительно. Для верующих мусульман идея о том, что такая значительная фигура была бы проигнорирована или заброшена, причиняет боль, поэтому реальность шестого века в Мекке подчиняется более утешительной версии: дважды осиротевший мальчик обретает свою идентичность у ног деда, слушая предания о клане и племени из уст человека, который играл главную роль в этих преданиях.

Абд аль-Мутталиб был настолько немощен, что даже ходьба с тростью причиняла ему боль. Каждый день его переносили на носилках, покрытых ковром, в священную зону Каабы, где он лежал в тени пальмового навеса, принимая почести и выступая в качестве советчика, долгожительство которого вознаграждалось уважением. Хочется представить, как его глаза загораются, когда его любимый внук забирается на носилки рядом с ним и с широко раскрытыми глазами слушает истории о своём наследии, столь же богатом и сложном, как узоры ковров, на которых они лежат.

Это было его наследие, его гордость, если говорить языком мекканцев. Кто вы есть, определялось вашими предками, так сильно, что здесь практически существовал культ предков, их могилы почитались близко к поклонению, как это до сих пор сохраняется в Северной Африке и на Ближнем Востоке — от гробницы Авраама в Хевроне до могил знаменитых раввинов и имамов.

Какое утешение мог юный Мухаммад найти в таком наследии? Что он мог подумать, узнав, например, историю о своем рождении? О том, что его дед едва не принес в жертву своего собственного сына, отца Мухаммада, перед каменной глыбой? Должен ли он был воспринимать это как подтверждение своей исключительности, как предполагают ранние историки? Или же эта история могла вызвать у мальчика, никогда не видевшего своего отца, не чувство гордости, а скорее ужас? Как он мог быть уверен, что этот старик, когда-то готовый пожертвовать своим сыном, не поступил бы так же и с ним?

Маловероятно, что Мухаммад когда-либо слышал эту историю от своего деда. В те времена, задолго до появления концепции детства, детей не воспринимали как отдельный мир, полный нежности и заботы. Их считали лишь уменьшенными версиями взрослых, которые должны были выживать в условиях высокой смертности, где для сентиментальности просто не оставалось места. Особенно это касалось сирот.

Абд аль-Мутталиб, если вообще обращал внимание на мальчика, видел в нём одного из множества детей, мельтешащих вокруг. А если Мухаммад и встречал взгляд деда, то, вероятно, только издалека — как на фигуру, возвышающуюся над всеми, слишком значимую и занятую, чтобы заметить его существование. Скольких внуков с более яркими перспективами окружали старца!

Если же мальчик осмеливался подойти ближе, его встречали холодные взгляды и короткие окрики: «Не путайся под ногами! Лучше сделай что-нибудь полезное: принеси воды, собери хворост!» А если смелости оказывалось слишком много, подзатыльник ставил всё на свои места.

Постепенно Мухаммад понял, что единственный способ удержаться в этой среде — это стать незаметным. И именно в этой незаметности он, возможно, нашёл своё спасение. Она дала ему возможность наблюдать за миром, видеть его яснее, чем те, кто был занят самими собой.

Быть незаметным стало ключевым навыком его выживания, но одновременно это научило его наблюдать, изучать и понимать мир, в котором он жил. Находясь на периферии общества, он приобрёл острое чувство осознания его противоречий. Несмотря на то что формально он считался частью своего племени, ему постоянно приходилось доказывать своё право на существование. Это же дало ему ясное понимание общества, которому он принадлежал, но которое, казалось, не имело для него места.

Шестилетний Мухаммад жил в обществе, где священное и мирское так тесно переплетались, что было невозможно определить, где заканчивается одно и начинается другое. Мекка не была отсталой изолированной деревней, как её часто представляют современные западные люди, а, напротив, процветающим экономическим центром. Это был важный пункт на северо-южном торговом пути, тянувшемся через весь запад Аравийского полуострова — из портов Йемена на юге в Дамаск и Средиземноморье на севере. Гениальность курайшитов заключалась в их способности объединить коммерцию с паломничеством. Набожность и прибыль стали двумя основными двигателями процветания города.

Прошло всего пять поколений с тех пор, как курайшиты захватили контроль над Меккой, восстановили её древнее святилище и провозгласили себя его новыми хранителями. Они мигрировали на север из Йемена, их движение, как и многие массовые переселения в истории, было вызвано катастрофой. В данном случае катастрофой стал обвал огромной плотины Мариб, руины которой до сих пор можно увидеть в холмах за пределами Саны, библейской Савы.

Четверть миллиона акров орошаемых полей были созданы благодаря этой плотине. Наряду с орошением развилась процветающая цивилизация, значительная часть которой финансировалась за счёт выращивания местных колючих деревьев, которые казались совершенно незначительными для тех, кто не знал ценности их сока: мирры. Но вместе с богатством, как всегда, пришла жадность. А с жадностью — нестабильность. Контроль над Йеменом переходил из рук в руки: сначала христианской Эфиопии, поддерживаемой Византией, затем зороастрийской Персии, потом независимых царей (один из которых был евреем в V веке), и снова по этому циклу. Хаос войн неизбежно сказывался, и уход за плотиной Мариб был заброшен. В конце концов, её разрушение произошло из-за чего-то абсурдно простого: кроты прорыли такие глубокие туннели в её огромном глинистом основании, что оно обрушилось, и земля вновь превратилась в пустыню. Начался исход на север, в который включилось несколько кланов под предводительством легендарного Кусая, прадеда Абд аль-Мутталиба. Объединившись в одно племя, они приняли название курайш, что означает «собравшиеся вместе», и отвергли не только Йемен, но и сельское хозяйство. Когда они осели в Мекке, они поняли: если ты контролируешь святое, ты никогда не будешь голодать.

Святилище, которое они приняли, вскоре стало известно как Кааба, хотя тогда оно ещё не было высокой кубической структурой (само слово «куб» происходит от арабского «кааба»), которая станет центральной точкой ислама. Когда Мухаммад впервые увидел её, это было относительно скромное сооружение, по современным меркам. Её стены из камня и глины были высотой всего с человека, а крыша представляла собой пальмовые ветви, покрытые тканью. Для мальчика, привыкшего к жизни кочевников-пастухов, это было успокаивающе знакомо, так как это часто называли «ариш» — словом, используемым для обозначения крыши из пальмовых ветвей для овчарни или загона для скота. Но это же слово имело глубокое мистическое значение на всем Ближнем Востоке. Так называли скинию древние евреи, которые построили ее в пустыне еще во времена Моисея, и оно указывало не только на защищённое место, но и на место защиты — святилище и убежище как для людей, так и для животных, как в строках «Господь — пастырь мой». Святилище, таким образом, стало высшим убежищем, содержащим дух Бога в себе: божество аль-Лах, буквально «высший», подобно его еврейскому эквиваленту Элохим или ещё более древнему месопотамскому Элу — верховному божеству, правящему над всеми меньшими племенными богами и тотемами.

В соответствии с вековыми метафорами высоты и величия можно было бы ожидать, что такое святилище будет возвышаться над своим городом, как Парфенон над Афинами или Храм над древним Иерусалимом. Однако ранняя Кааба нарушала традицию «высоких мест» для общения с божественным. Она находилась в самой низкой точке Мекки, глубоко в углублении, вырезанном пересекающимися *вади*, сухими руслами рек, созданными внезапными наводнениями. И это лишь добавляло ей загадочности. Небольшая открытая территория вокруг неё была скрыта домами, так что вы неожиданно наталкивались на неё, выйдя из лабиринта пыльных переулков с решетчатыми балконами, к свету открытого пространства. Казалось, что город защищает Каабу, словно обнимая её. По сути, это была не корона, а пуповина Мекки — её центр, вокруг которого всё вращалось. Даже в буквальном смысле. Возвращаясь из путешествия, мекканцы делали так же, как паломники: обходили святилище семь раз, левым плечом внутрь — ритуал обхода, который был своего рода печатью, сделанной собственным телом. «Вот я здесь», — как бы говорил он. «Здесь моё место».

Это чувство принадлежности находило отклик у десятков тысяч людей, прибывавших со всей Аравийской полуострова в течение месяца Зуль-хиджа, «месяца хаджа», центрального из трёх священных месяцев, когда вся Мекка считалась священным городом, и всякие сражения были запрещены в её пределах. В эти месяцы население города утраивалось, и паломники заполняли переулки, напевая молитвы, направляясь к Каабе. Они произносили: *«Лаббайка, аллахумма, лаббайка»,* что означает: «Вот я здесь, о Боже всех людей, вот я здесь». А также: *«Ла шарика ляка илла шарикун хува ляк»,* что переводится как: «Нет у Тебя сотоварища, кроме тех, которых Ты сам избрал», — таинственная и неоднозначная формулировка, которая, казалось, включала и признавала всех остальных племенных богов, но при этом удерживала их, так сказать, на своём месте.

Это место находилось не в самой Каабе, а в открытом пространстве вокруг неё. Однако сколько их было, остаётся открытым вопросом. Через три столетия один историк из Дамаска утверждал, что там было триста шестьдесят этих «идолов», как он их называл, и это число часто повторяется современными историками. Но помимо практической невозможности такого количества на столь маленьком пространстве, само число, вероятно, анахронично, так как оно соответствует числу градусов в круге, установленному исламской математикой только в IX веке. На самом деле таких идолов могло быть не больше дюжины, и они действовали не как боги сами по себе, а как племенные тотемы. Тот факт, что они располагались вокруг Каабы, а не внутри неё, ясно давал понять, что они были подчинены единому Богу, чьим святилищем она являлась. Так устроено было язычество. Несмотря на вводящую в заблуждение современную идею о множестве богов, конкурирующих друг с другом, все древние языческие системы почитали одного высшего бога над всеми остальными. Другие же боги считались «сопряжёнными» с высшим богом, и этот термин, использовавшийся как в Ветхом Завете, так и в Коране, ясно указывал на их более низкий статус: не столько «партнёры Бога», сколько младшие товарищи.

Называть их идолами столь же ошибочно, так как это вызывает образы ярко раскрашенных и позолоченных статуй в духе старых голливудских фильмов. Суть в том, что это не были статуи. Ветхий Завет настоятельно требовал, чтобы двенадцать камней для алтаря были «нетесанными», то есть не обработанными рукой человека. Точно так же тотемные камни Мекки считались объектами таинственной силы именно потому, что их не обрабатывали, по крайней мере, люди. Их формировала некая другая, более высокая сила: действие ветра и времени на песчаник, вулканическая энергия, создающая кварц, полевой шпат и слюду, или внеземная сила метеоритов, падающих с небес огнём. Эти камни могли быть величиной с футбольный мяч, как Чёрный камень, встроенный в один из углов святилища Каабы, или округлыми и гладкими, как три «дочери Бога», известные как Манат, Лат и Узза, или огромными, как Хубал, возвышающийся над самым высоким человеком. Благодаря своим размерам, форме или блеску, каждый из них настолько выделялся в пустынном ландшафте, что даже самый светский ум мог почувствовать в их существовании некую духовную силу и стремился найти способ забрать их домой.

Эти камни почитались, украшались гирляндами, им приносили подношения и жертвоприношения животных, но перед ними никто не преклонялся и не молился. Сами камни не обладали силой; она принадлежала духу, который они представляли — духу, создавшему их. Но камни были осязаемыми; их можно было увидеть и потрогать. Они предлагали утешение физического присутствия, выражая человеческую тягу к воплощённому богу, который говорил и которому можно было обратиться. Личностный бог, если можно так выразиться, выступающий в качестве своеобразного «помощника», доступного пользователю, по отношению к непостижимой, невидимой тайне силы, оживляющей мир.

Описания того, что находилось внутри Каабы, стали столь же преувеличенными, как и рассказы о том, что было снаружи. Некоторые ранние исламские историки придерживались сравнительно сдержанных версий, утверждая, что внутри находились лишь рога барана, принесённого в жертву Авраамом вместо Исмаила, или единственная золотая голубка. Другие утверждали, что там были статуи, представляющие все многочисленные племена Аравии, а также христианские изображения Марии и младенца Иисуса. Кроме того, упоминались несметные сокровища, древние мечи и ещё более древние свитки. Каждая версия клятвенно подтверждалась, каждая была «видена своими глазами» или глазами близкого человека, и каждая противоречила следующей. Но самой загадочной, а также наиболее вероятной, возможностью было то, что, как и в святая святых иудейского храма, когда-то стоявшего далеко на севере в Иерусалиме, Кааба была пуста. Ни один физический объект не мог бы вместить сущность единого Бога, и потому эта пустота представляла собой куда большую тайну, чем любое количество идолов или груды сокровищ.

Не сложно понять, почему историки, писавшие в утончённой городской среде поздних Дамаска и Багдада (города, который даже не существовал в VI веке), настаивали на том, что доисламская Мекка была погрязшей в идолопоклонстве. Их ориентиром была кораническая концепция *джахилии*, которую переводят как «идолопоклонство», «варварство», «тьма» или «невежество» — своего рода краткое описание язычества как такового, вызывающее образы безбожных существ, живущих в мрачном невежестве ко всему святому.

Но язычество не было безбожием. Скорее, напротив, оно представляло собой избыток богов: политеизм. Образ язычества как отсутствия морали и ценностей, хаотической бесконечности конкурирующих божеств, варварских ритуалов и эротически насыщенной распущенности был продуктом необходимости зарождающегося монотеизма утвердить свою моральную высоту. Эта концепция была скорее политическим конструктом, чем историческим фактом. Все великие мыслители античности были язычниками, однако у них не было недостатка ни в душе, ни в чувстве святого.

Последнее, как бы они себя ни описывали, было явно неверно. Слово «язычник» и тогда, и сейчас использовалось как оскорбление. Оно происходило от того же корня, что и английское слово «крестьянин» (pagus на латыни, означающее «сельский округ»); для римского аристократа крестьянин по определению был язычником, и наоборот.

Исламский образ доисламской Мекки удивительно напоминал образ Израиля, представленный еврейскими пророками до утверждения монотеизма. Исайя, Иеремия и Иезекииль писали метафорически, когда описывали весь Иерусалим и весь Израиль как «блудницу». Они обвиняли древних израильтян в продаже не их тел, а их душ. И они знали, что делали, когда выбрали слово «блудница». Тогда, как и сейчас, сексуальные метафоры привлекали внимание. Но рано или поздно метафору начинают воспринимать буквально.

Ирония заключается в том, что ранние исламские историки, как и еврейские пророки до них, оказались столь же ориенталистскими, как и европейские учёные XIX века, которых так эффективно критиковал Эдвард Саид в своей работе «Ориентализм». Ориентализм, если говорить честно, начался на самом Ближнем Востоке задолго до европейского империализма и по той же причине: интеллектуальное высокомерие. Эти исключительно городские люди VIII и IX веков, гордясь культурными и интеллектуальными достижениями мусульманской империи — от великолепия Купола Скалы в Иерусалиме до академий, закладывавших основы современной медицины и науки, — противопоставляли своё изящество предполагаемой примитивности прошлого, создавая исламский образ эпохи до и после Просвещения.

Как и мы в современном Западе, они лелеяли иллюзию, что их современники представляли собой вершину цивилизации, утончённых наследников, которые продвинулись далеко вперёд от тех тёмных времён. Подобно нам, они не могли не видеть прошлое через призму собственных достижений, искажая его в процессе, словно смотря через перевёрнутый конец телескопа.

Именно так они интерпретировали единственное кораническое упоминание «мерзости» в Каабе как наготу, что в точности соответствовало их ожиданиям относительно «непросвещённых язычников». Но, подобно тем, кто читал осуждение блудодеяния еврейскими пророками буквально, они уловили образ, но упустили суть. Паломники действительно снимали повседневную одежду, признавая присутствие святого, но затем надевали две бесшовные полосы неотбеленного домотканого льна, известные как *ихрам*, которые до сих пор носят на *хадже*. По сравнению с обычными широкими одеждами, покрывающими всё, кроме рук и ног, это можно было назвать наготой. Паломники намеренно делали себя уязвимыми, принимая самое простое и скромное одеяние, чтобы не было различий по статусу или племени, подчёркивая, что все равны перед Богом. Все, кроме тех, кто поставлял эту одежду, — людей, управлявших паломническим бизнесом, то есть курайшитов.

Ничего нового в том, что из религии выкачивали всеми возможными способами деньги, не было. Курайшиты прекрасно понимали, насколько прибыльной может быть религия. В VI веке они знали это так же хорошо, как современные телеевангелисты. Мекка управлялась как своего рода олигархия, где власть находилась в руках немногих богатых. Доступ к любому аспекту паломничества всегда регулировался, и всегда за плату.

Торговля специальной одеждой ихрам была лишь одной из многочисленных граней паломнического бизнеса. Наряду с этим процветали и другие доходные дела: обеспечение паломников водой и пищей, продажа корма для верблюдов, ослов и лошадей. Привилегии между кланами делились по воле руководства курайшитов, которые с ловкостью купцов распределяли монополии.

Клан Хашимитов, к которому принадлежал Мухаммад, держал в своих руках право на снабжение водой, ведь глава клана, Абд аль-Мутталиб, владел несметным сокровищем — колодцем Замзам. Каждый шаг паломничества был просчитан до мельчайших деталей: от платы за место под палатку до взносов за вход на территорию Каабы. Даже услуги жрецов, бросавших жребий перед статуей Хубаля, или резчиков, разделывающих жертвенных животных, не обходились без тщательно установленной таксы.

Весь этот стройный механизм был создан с единственной целью — обогащения курайшитов. Их бизнес держался на вере, а вера, в свою очередь, была основой их бизнеса. Каждая монета, каждая крупица золота, каждое зерно сделок — всё текло в их руки, как вода из Замзама, символизируя то, как искусно они соединяли священное и мирское.

Для мальчика, чьи представления о жизни формировались в суровых, но равных условиях бедуинского быта, всё это не могло не стать потрясением. Его собственный народ, казалось, умело подмял под себя саму суть веры: на словах благочестиво превознося её идеалы, на деле он нарушал самые основы этой священной приверженности.

С позиции стороннего наблюдателя, стоя на окраинах происходящего, он видел всё с обострённой ясностью: социальная несправедливость обнажалась в каждом шаге этого великого спектакля. Подобно современным мегаполисам Африки или Азии, город притягивал людей словно магнит, обещая светлое будущее, но в итоге ввергал их в мрак нищеты. Надежда и отчаяние здесь переплетались, как свет и тень.

Процветание Мекки строилось на спинах беднейших слоёв, чьи мечты о богатстве превращались в кошмары безысходности. Каждый новый дом богатого купца, каждая свежевыкрашенная лавка были построены ценой тех, кто потерял последнюю надежду. И всё это мальчик видел, стоя в тени величественных стен города, чей блеск заслонял суровую реальность.

Мухаммад не мог отвести взгляд или притвориться, будто не замечает, как это делали богатые. Он не мог игнорировать нескончаемую вереницу увечных, доведённых до нищенства, или когда-то гордых кочевников, теперь продающих себя в долговую зависимость, не говоря уже о тяжести настоящего рабства, которое пожирало человеческие жизни. Находясь на окраинах священной территории Каабы, всегда начеку, готовый к любому поручению, он изучал устройство системы, которая пропитывала каждое движение этого города.

Он замечал, как сильные неизменно оказываются на вершине, а слабые остаются внизу. Он видел, как богатые купались в самодовольстве, будто их благосостояние было не только их заслугой, но и знаком особого избрания Богом. С вниманием он слушал, как арбитры разрешали споры о собственности и привилегиях — городские разбирательства, далекие от простоты и общинного равенства бедуинского мира. И, несмотря на всю их холодную расчётливость, он невольно восхищался искусством компромисса, позволяющим обеим сторонам выйти из спора с чувством победы.

Он наблюдал за тем, как приносились торжественные клятвы, заключались сделки, оформлялись соглашения, фиксировались цены и распределялись торговые привилегии. Всё это тщательно скреплялось именем единого Бога, чьё святилище служило центром этого мира, где благочестие и торговля были переплетены в единое целое.

Если у Мухаммада и оставались сомнения в том, насколько тесно были связаны религия и прибыль, они полностью исчезли при виде разительного сочетания этих двух явлений на ежегодной торговой ярмарке в Указе, расположенной за пределами Мекки. Эта ярмарка была бурлящим центром жизни, напоминающим шумные государственные ярмарки в Америке. Она проводилась одновременно с хаджем, представляя собой его светскую противоположность — бренную сестру священного паломничества. Именно в эти дни Мекка становилась не просто торговым узлом, но конечной точкой для множества караванов, а курайшиты извлекали максимум выгоды из этой возможности.

Местечко Указ превращался на время одновременно в маскарад, базар и торговую площадку. Повсюду раскинулись палатки, животные стояли в загонах, а под навесами из пальмовых листьев велись переговоры и заключались сделки. Здесь можно было купить всё, что угодно, и каждая сделка сопровождалась щедрыми возлияниями крепкого финикового вина или ферментированного кобыльего молока — кумыса.

На прилавках можно было найти настойки и мази, экзотические снадобья и отвары из странных ингредиентов — печёнок старых верблюдов, скорпионьих хвостов, паутины, выдержанной на солнце и закопанной до достижения нужной степени плесени. Одни продавцы предлагали травы для исцеления, другие — яды для тех, кто искал обратного эффекта. Амулеты, созданные из частей животных, волос, драгоценных камней и золотых нитей, обещали своим владельцам здоровье, мужество, защиту от бед или проклятия врагов.

Помимо торговли, ярмарка предлагала зрелища: индийские факиры ходили по раскалённым углям, африканские заклинатели змей гипнотизировали публику, танцующие обезьяны и дерущиеся петухи развлекали зевак. Поэты участвовали в состязаниях, наподобие современных поэтических дуэлей, а прорицатели продавали предсказания. Проповедники предлагали веру, а жрицы любви — телесные утехи. Шаманы входили в транс, катаясь в пыли, а экзорцисты "извлекали" из тел больных воображаемые поражённые органы, оставляя аудиторию изумлённой. Между тем дикие провидцы заявляли о своей пророческой миссии, каждый из них провозглашая свою уникальную истину.

Эта бурлящая смесь бизнеса, веры и развлечений в Указе была одновременно захватывающей и ошеломляющей. Мухаммад наблюдал за происходящим с неизменным вниманием, изучая мир, который был гораздо сложнее и многограннее, чем бедуинская жизнь, к которой он привык.

Но пророков уже было слишком много. Мухаммад слышал о них от евреев, прибывавших в Указ из больших оазисов Медины и Хайбара на севере, а также от христиан, приезжавших из Йемена и кафедрального города Наджран на юге. Эти люди называли себя народом Книги, и сама идея книги — слов, существующих физически, не в устах или ушах, а начертанных на пергаменте, — обладала магической силой для мальчика, который сам не умел ни читать, ни писать.

Эти люди утверждали, что их Бог говорил с ними или, по крайней мере, с их пророками. Но как этот Бог мог говорить столь разные вещи? Как мог пророк одного народа отрицаться другим? Как могли разные племена почитать свои тотемы в пределах священной территории Каабы, игнорируя другие? Как могло быть так много истин?

Для молодого мальчика, неуверенного в своём месте в мире, это многообразие голосов было одновременно очаровывающим и пугающим, пробуждая в нём неясное стремление к ясности, к единому видению, которое объединяло бы людей, а не разъединяло их. Но даже если он осознавал это желание, у мальчика с его положением не было никаких средств воплотить его — особенно после того, как через два года после смерти его матери умер и его дед. С потерей номинального защитника его жизнь снова изменилась.

## **Пятая глава**

В сущности, Мухаммад оказался сиротой втройне. Восьмилетнего мальчика вновь передали в другой дом, на этот раз под опеку нового главы клана Хашим — его дяди Абу Талиба.

Для Абу Талиба принятие мальчика было вопросом сыновнего долга; вместе с наследством отца он взял на себя и его обязательства. В этом поступке проявилось чувство чести, и именно как человек чести он сыграет важнейшую роль в жизни своего племянника в будущем. Но насколько рад он мог быть в 578 году очередному рту, которое надо кормить, — рту, у которого не было ни наследства, ни, казалось бы, будущего, — это совсем другой вопрос.

Мухаммад, повидимому был придатком к обширному дому Абу Талиба, а не его неотъемлемой частью. И он должен был заработать право на своё место. Поэтому, несмотря на романтические рассказы о том, что дядя с самого начала особенно заботился о племяннике, записи ясно показывают: Мухаммада отправили работать простым погонщиком верблюдов. Уже через два года он выполнял эту роль в торговых караванах Мекки.

Годы, проведённые с бедуинами, пошли ему на пользу. Он умел обращаться с верблюдами — одними из самых своенравных животных, если не знать, как их приручить. Особые щелчки языком, точное натяжение поводка, легкое прикосновение к боку с нужной силой, чтобы заставить их встать или сесть, — всё это было частью мастерства. Те, кто не умел обращаться с верблюдами, кричали на них, дёргали поводки, делая животных ещё более упрямыми и непокорными. Искусный погонщик был незаметен: он не кричал, не толкал и не бил. Его звуки, побуждающие верблюдов идти вперёд, были настолько мягкими и шипящими, что больше напоминали дыхание, чем шум.

Сначала Мухаммад работал только с молочными верблюдами. Лишь доказав свою надёжность, он получил право работать с кастрированными самцами, которые обеспечивали торговлю в Мекке. Эти одногорбые дромадеры, привезённые из Эфиопии в III веке, оказались идеально приспособлены к климату и ландшафту Аравии. Они могли изменять свою температуру тела в зависимости от условий и запасали воду в красных кровяных клетках, что позволяло им обходиться без питья днями, преодолевая расстояния между колодцами. Горб верблюда, вопреки легендам, хранил не воду, а жир. Люди же не были столь приспособлены к пустыне, поэтому многие караванщики, как отец Мухаммада, уходили в путь и не возвращались. Это показатель того, насколько велики были риски: из четырёх предков, чьи имена дали названия основным кланам курайшитов, лишь один умер дома, в Мекке; остальные трое, включая предка Мухаммада Хашима, окончили свои дни далеко — в Газе, Ираке и Йемене.

Кроме болезней и несчастных случаев, всегда существовала опасность нападений разбойников или кочевых бедуинов, которых привлекала длинная цепочка нагруженных верблюдов. К этому добавлялась и сама по себе изнурительная тяжесть пути под палящим солнцем и ярким светом, многократно усиливавшаяся от раскалённых камней и твёрдой пыльной корки пустыни. Чтобы выдержать такие длительные походы, нужно было обладать огромной выносливостью.

Тяжело нагруженные вьючные верблюды в основном перевозили товары, и лишь самые богатые торговцы могли позволить себе ехать верхом. Те, кто занимался "работой бедуинов", как юный Мухаммад, шли пешком рядом. Даже после того, как караван останавливался на ночлег, разгружались верблюды, их кормили и связывали для отдыха, — после дневного перехода в 30 миль по ровной местности или менее 20, если путь был сложным, — их работа ещё не заканчивалась. Они собирали продолговатые сухие комочки верблюжьего навоза, настолько плотного и лишённого запаха, что его легко можно было использовать для медленного горения в костре. Затем они доставляли воду для своих хозяев — из колодца или источника, если такие были поблизости, либо из бурдюков из козьих шкур, привязанных к бокам верблюдов. Убедившись, что хозяева хорошо накормлены, они довольствовались лишь оставшимися крохами, а потом всю ночь стояли на страже, защищая караван от хищников: волков, гиен и горных леопардов.

Караваны обеспечивали безопасность благодаря численности. Одинокий путешественник, о котором пели великие бедуинские оды, находя наслаждение в случайных удовольствиях и стойко перенося опасности пути, мог существовать только в поэзии. Реальность же была иной, и лишь молодые и чрезмерно идеалистичные люди могли настолько спутать фантазии с действительностью. Каждый караван состоял как минимум из дюжины верблюдов, но дважды в год мекканские торговцы организовывали огромные караванные поезда, численностью до двух тысяч животных. Весной они отправлялись на север в Дамаск, а осенью — на юг, в Йемен. Именно к северному каравану, направляющемуся в Дамаск, был и прикреплён Мухаммад, когда произошло одно из самых известных событий его детства.

Караван шёл по возвышенности к востоку от реки Иордан, по древнему маршруту, известному как "Царская дорога". Лидер каравана дал сигнал остановиться на ночлег неподалёку от заброшенной византийской крепости, где поселился одинокий христианский монах. Развалины крепости были символом своего времени: когда рушились политические системы, вместе с ними разрушалась и инфраструктура. Конфликт между Византией и Персидской империей, длившийся фактически восемь столетий с времён Александра Македонского, к тому моменту полностью истощил ресурсы обеих сторон. На востоке разрушающиеся ирригационные системы, построенные персами на равнинах между Евфратом и Тигром, приходили в упадок, как и плотина Мариб в Йемене, не выдержавшая нагрузки вековых войн.

В византийской провинции Сирия, охватывающей территории современных Сирии, Иордании, Ливана, Израиля и Палестины, из-за нехватки денег войска были выведены, и многие крепости на линии обороны с севера на юг медленно разрушались под воздействием песчаных бурь. Иногда бедуины использовали их стены как зимнее укрытие для себя и своих стад. Но чаще там обосновывались монахи — либо в одиночку, либо небольшими группами. Отшельники, проповедники, святые, иногда почти дикие люди, они пользовались уважением у местных племён, которые оставляли для них воду и пищу — дары, скорее, святой идее, воплощённой этими людьми, чем самим людям.

Образ монаха в пустынной келье "в одиночестве с бесконечно длинной ночью и её звёздами, тягостно висящими на небе", стал романтическим мотивом в доисламской поэзии. Свет "лампы отшельника, льющей масло на крученый фитиль из его тонкой глиняной посудины" служил утешением для путника или воина, бродившего в пустыне. Этот образ был установлен ещё в IV веке в Египте, когда Святой Антоний, часто называемый "отцом пустынных отцов", провёл двадцать лет в одиночестве в заброшенной римской крепости на Ниле. Или, возможно, не совсем в одиночестве. Его биограф из Александрии, Афанасий, писал, что присутствие Антония притягивало поток посетителей, включая арабских торговцев, которые намеренно отклонялись от маршрута, чтобы пройти мимо его кельи и прикоснуться к святому присутствию. Влияние Антония было столь велико, что, по словам Афанасия, "монастыри, процветающие, словно весенние цветы, рассеяны по всему миру, и знак отшельника-аскета правит от одного его конца до другого".

Отшельник-аскет, который сыграет столь важную роль в легенде о детстве Мухаммада, был известен под именем Бахира. Имя это странно для жителя пустыни, поскольку происходит от арабского слова bahr, что означает "море". Возможно, он когда-то был моряком, а может, это имя символизировало "море знаний", которым он обладал, — особенно в виде книги, о которой ходили слухи, что она стара, как сама история, передаваясь из поколения в поколение монахов. В эпоху, когда лишь немногие умели читать и писать, само существование такой книги было культовым. Её считали неким оракулом, а её мощь передавалась через контакт с хранителем.

На деле книга Бахиры, вероятно, была пергаментной копией Библии в одном из множества её вариантов, существовавших на тот момент. Поскольку пергамент подвержен разрушению, Бахира посвятил свою жизнь кропотливой работе по её переписыванию, буква за буквой, стих за стихом, чтобы сохранить её для потомков.

По словам Ибн Исхака, который, как всегда, добавлял к своим историям оговорки вроде "говорят", Бахира раньше никогда не обращал внимания на проходящие караваны. Но когда караван, частью которого был Абу-Талиб, направлялся в Дамаск, отшельник заметил маленькое облачко в ясном небе. Оно низко парило над одним местом в караване. Расценив это как знак, он нарушил свой обычай, вышел из крепости и пригласил всех путников разделить с ним трапезу.

Абу-Талиб и остальные приняли приглашение, но оставили десятилетнего Мухаммада присматривать за верблюдами и грузом. Однако, едва все вошли за стены крепости, Бахира ощутил, что кто-то отсутствует. Он начал задавать вопросы, и тогда ему признались: да, действительно, есть ещё один — мальчик, который ухаживает за верблюдами. Но приглашение ведь не распространялось на него?

Наоборот, распространялось. Бахира настаивал, чтобы мальчика привели. Когда Мухаммад оказался перед ним, он заставил ребёнка стоять неподвижно, тщательно осмотрел его тело в поисках "печати пророчества", упомянутой в его таинственной книге. По разным версиям, это мог быть третий сосок, подобный тем, что иногда находят у каждого нового воплощения Далай-ламы, или родимое пятно между лопатками, "похожее на отпечаток медицинской банки". Как бы то ни было, Бахира нашёл искомое, обернулся к Абу-Талибу и торжественно произнёс: "Перед твоим племянником великая судьба".

Эта история идеально соответствует канонам, наполненная предзнаменованиями и чудесами. Облако, парящее над мальчиком, и скрытая печать на его теле — всё это атрибуты будущего героя. Однако легенда, возвышая Мухаммада, одновременно указывает на его скромное положение в караване: мальчик-погонщик верблюдов был настолько незначителен, что его присутствие посчитали недостойным внимания. Если подобное событие действительно имело место, то в то время Абу-Талиб и остальные могли счесть слова Бахиры всего лишь бредом старика, слишком долго пробывшего в одиночестве под жарким солнцем пустыни. Они, вероятно, посчитали его "мажнун" — одержимым джинном — и отправились дальше в Дамаск.

И всё же легенда остаётся классическим примером предопределённости судьбы. Герой, неизвестный среди своих, мгновенно узнаётся святыми других народов. Ещё важнее то, что признание пришло из Византийской Сирии от христианского монаха, что символически связывает грядущее откровение Корана с предшествующими откровениями, описанными в Библии. Значение этого момента считалось настолько важным, что позднее подобный рассказ — о монаше-отшельнике, пути в Дамаск и признании особого предназначения — поместили на пятнадцать лет позже, в период, когда Мухаммад уже был 25-летним молодым человеком. К тому времени он, поднявшись по иерархии караванной торговли, стал самостоятельным агентом, представляющим интересы других. Но путь от мальчика-погонщика верблюдов до уважаемого торговца, независимого агента, был долгим и тяжёлым. Мухаммад должен был многому научиться, и перед ним открывался целый мир, полный уроков.

Для успешных торговцев шестого века информация была ключом к процветанию. Как показывают новости из Wall Street Journal или Financial Times, знание ситуации в торговых маршрутах и на рынках имело решающее значение. Мекканские купцы обязаны были быть политически и культурно осведомлёнными, всегда держать руку на пульсе событий — как в пути, так и в пунктах назначения. Они также должны были быть искусными дипломатами.

Дипломатия начиналась с необходимости обеспечения безопасного прохода через земли различных племён и племенных конфедераций. Такие гарантии требовалось заранее обговаривать и оплачивать — что-то вроде древнего аналога дорожных пошлин или "денег за охрану". Нужно было получить разрешение на использование местных источников воды, договориться о поставке провизии на пути, преподнести дары шейхам, от которых зависела безопасность маршрута. Всё это требовало обширной сети контактов и глубокого понимания племенной политики: кто обладает властью, чтобы гарантировать защиту, чьё влияние растёт, а чьё угасает, какие союзы недавно заключены, а какие распались из-за конфликтов за пастбища или водные ресурсы.

Руководители караванов должны были знать, на чьё слово можно положиться, особенно когда слово мужчины действительно считалось нерушимым обязательством. Такие соглашения не закреплялись письменно, а утверждались рукопожатием — предплечье к предплечью, символизируя торжественное обещание, от которого зависела репутация человека. Но репутации бывают разные: одни заслужены, другие нет, и разница между ними могла быть вопросом жизни и смерти.

Оказавшись под формальной защитой местного шейха, купцы становились его гостями и защищались, как если бы находились в его собственном доме или дворце. Любое нападение на караван считалось равносильным нападению на самого шейха. Для обеспечения безопасности он назначал проводников, которые сопровождали караваны по своей территории. Эти проводники могли "читать" пустыню, как книгу. На первый взгляд, бесконечные просторы обнажённого камня, редкой степной растительности и острых лавовых полей выглядели пустыми и однообразными, но для опытных глаз проводников эта местность была полна знаков и узнаваемых ориентиров.

Карт им не требовалось: земля была у них в голове. Они точно знали, в какой сезон какой источник даёт лучшую воду, где расположены зимние лужи, собирающие дождевую воду, и какие из них сохраняются дольше всего. Проводники вели караваны от одного водного источника к другому, иногда находящимся в дневном переходе, а иногда и в двух или трёх. Временами их путь пролегал через кочевые стоянки, расположенные возле подземных источников или скудных деревьев у горьковатого колодца, но иногда они наслаждались роскошью оазисов — как Медина, Хайбар, Тейма или Табук. Эти оазисы были как жемчужины на нитке, зелёные ленты финиковых пальм, скрытые в глубоких долинах, питаемых вечными ключами.

Тяжёлые месячные переходы компенсировались их прибылью. К эпохе Мухаммада мекканские купцы расширили свою торговлю на территории, большей, чем Европа, охватывая Сирию и Ирак, Египет, Йемен и Эфиопию. И где бы они ни оказались, они не были чужаками. Они пустили корни в землях и городах, с которыми вели торговлю, потому что быть торговцем в то время значило быть путешественником, а быть путешественником — значило быть временным жителем.

Они не отправлялись в далёкий путь длиной в восемьсот миль ради быстрого появления, будто бы это был древний аналог «мимолётной посадки» в современном аэропорту Дамаска. Здесь не было беглого появления, рукопожатия при сделке и немедленного возвращения. Нужно было время, чтобы принять и оказать гостеприимство, чтобы создать и развить личные отношения, которые позволяли торговать, и чтобы провести долгий, тщательно продуманный ритуал переговоров. Вы обустраивались на длительное время, делая место своим домом настолько, что к тому моменту, как Мухаммад начал работать в караванах, мекканские аристократы владели поместьями в Египте, особняками в Дамаске, фермами в Палестине и финиковыми плантациями в Ираке.

Для Мухаммада не могло быть лучшего образования, чем в Дамаске, гораздо более обширного, чем то, которое получает любой современный школьник, запертый за экраном компьютера в четырёх стенах. Впервые он осознал, что, несмотря на всю свою космополитичность по местным меркам, Мекка была провинциальной по сравнению с этим большим миром на севере. Так же как он сам одновременно был своим и чужим в Мекке, так и его город был одновременно внутри и снаружи: он имел значение благодаря своему центральному положению на сухопутном пути на север из Йемена и Индийского океана, но был отделён огромным пространством пустыни от физической арены византийско-персидского соперничества, в котором Мекка играла роль гигантской засушливой Швейцарии, не присоединившейся ни к одной из сторон.

Даже тогда Дамаск был древним городом с историей, насчитывающей более полутора тысяч лет. Это был важнейший узел западной части знаменитого Шёлкового пути, и его улицы были полны людей из самых отдалённых мест: с севера — от Каспийского моря, с востока — от Индии. Греки, персы, африканцы, азиаты, светлокожие и темнокожие, мягкие мелодичные языки и резкие, гортанные — всё это смешивалось здесь в плодотворном объединении не только товаров, но и культур, а также религиозных традиций, которые формировали эти культуры.

Через арамейский язык, который, словно общая нить, связывал весь Ближний Восток, звуча в разнообразных, но взаимно понятных диалектах, Мухаммад приобщился к калейдоскопу священного. Истории, бережно хранимые людьми, становились отражением их прошлого и их самобытности, и никто не стеснялся делиться ими. Во дворах синагог и церквей, на шумных рынках и в просторных караван-сараях, под густыми тенями деревьев, что обрамляли каналы, превращавшие Дамаск в оазис для уставших от зноя путников, звучали эти предания. Мягкий голос старцев, пылкие речи молодых проповедников, строки поэтов, размышления священников, мечтания философов — всё это складывалось в живую ткань повествования.

Заворожённые слушатели, словно загипнотизированные, внимали каждому слову, кивая в такт и порой напевая знакомые строки, когда перед их мысленным взором оживали древние легенды христиан и евреев, зороастрийцев и индуистов. Здесь, в этом удивительном переплетении историй, человеческие судьбы и божественные замыслы сходились в единой драме, что оживляла полотно прошлого. Каждый рассказчик пытался по-своему раскрыть тайны мироздания, охваченный страстной верой в то, что истина сокрыта лишь в его словах. Однако даже внутри одной веры эта истина, подобно граням драгоценного камня, отражалась по-разному, принимая всё новые и новые очертания.

К примеру, библейские истории, которые пересказывали евреи Медины, заметно отличались от тех, что звучали в рассказах евреев Дамаска. Христианские предания также нередко расходились в деталях, порой обретая трогательные вариации. Так, в одной версии эпизода, где Иисус защищает женщину, обвинённую в прелюбодеянии, он произносит знаменитую фразу: «Кто без греха, пусть первым бросит камень». Однако в другой, до сих пор бытующей на современном Ближнем Востоке, он становится между женщиной и её обвинителями, заслоняя её своим телом, и добавляет решающие слова: «Кто без греха, пусть первым бросит камень в меня».

Были известные легенды, такие как предание о семи спящих. Семь юношей, замурованных в пещере во время римских преследований первых христиан, не погибли, а чудесным образом погрузились в глубокий сон, который длился двести лет. Когда они пробудились, мир изменился: христианство восторжествовало. (Примечательно, что мусульмане сегодня знают эту историю лучше, чем многие христиане, поскольку она упоминается в Коране.) Настолько велико было почитание семи спящих, что каждая местность стремилась привязать легенду к себе, утверждая, что именно у них находится та самая пещера. Это географическое соперничество сохранилось до наших дней: современные паломники могут выбрать, куда отправиться, чтобы увидеть предполагаемую пещеру семи спящих — близ Эфеса в Турции, в нескольких милях к северу от Дамаска в Сирии или неподалёку от Аммана в Иордании.

Различия уходили гораздо глубже, чем легенды. Христиане и евреи почитали Библию, но каждая из общин придерживалась своей версии. И когда дело доходило до толкования её смысла, между ними, а порой и внутри самих религий, вспыхивали споры, полные страсти и ожесточения. Евреи расходились в выборе раввинов, чей голос звучал для них убедительнее, спорили между Иерусалимским и Вавилонским Талмудами, колебались между строгим следованием закону и мечтой о приходе Мессии. А христиане, погружённые в ещё более сложные разногласия, часто доводили свои внутренние конфликты до открытых столкновений. Вопросы о том, был ли Иисус одновременно Богом и человеком, или Богом в человеческом обличии, имел ли он одну природу или две, превратились в политическое оружие. Эти споры раскалывали Византийскую империю, и её провинции становились на сторону то одной, то другой теологической фракции.

Для подростка, пытавшегося сложить свою жизнь из осколков, монотеизм выглядел подобно маяку в бушующем море. Эта идея перекликалась с его пониманием суровой чистоты пустыни, где каждая песчинка подчинена мощи, превосходящей человеческие силы. Монотеизм говорил с ним на языке его души, обещая единство, способное затмить разрыв между чувствами принадлежности и одиночества. Эта великая идея объединения всех народов перед лицом невообразимой, но явной силы казалась ему идеалом, который может стереть все границы. И всё же, куда бы он ни смотрел, то, что должно было сближать людей, только разделяло их.

Как могло стремление к божественному единству превращаться в источник человеческого разобщения? Почему идея одной веры рождала столько разногласий? Могло ли быть так, что человечество обречено разрушать даже то, что призвано соединять его? Эти вопросы, возможно, впервые начали рождаться в душе молодого Мухаммада, как зёрна размышлений, которые однажды взойдут.

Но куда бы он ни посмотрел, всё, что должно было служить объединяющей силой, лишь усиливало разобщение. Чем громче люди возвещали слова пророков — от Моисея до Иисуса, — тем меньше, казалось, слышали они их смысл. Как могло божественное единство, столь мощное в своей идее, привести к столь глубокому человеческому разобщению? Почему монотеизм, обещающий преодоление различий, порождал неутихающую сектантскую вражду? Неужели человечество было обречено раздираться на части именно тем, что должно было стать основой его единства?

Верить ли в мистическое предвидение монаха Бахиры или в проницательный купеческий взгляд Абу-Талиба — вопрос остаётся открытым. Однако дяде не потребовалось много времени, чтобы разглядеть в своём племяннике нечто большее, чем просто любознательного мальчишку. Мухаммад проявлял редкую наблюдательность и быстро учился. Казалось, он читал мысли Абу-Талиба, оказываясь под рукой ещё до того, как тот осознавал свою потребность. Он незаметно выполнял поручения, проверял поставки и аккуратно вёл учёт запасов. Когда мальчик перешагнул порог юности, Абу-Талиб начал всё больше доверять ему, вовлекая его в свои дела.

Караваны стали для Мухаммада не только школой торговли, но и кладезем культурных и религиозных знаний. Каждый путь открывал перед ним новый мир, полный человеческих историй, верований и обычаев. Эти дороги становились не просто дорогами, но нитями, связывающими множество судеб и идей, которые формировали его мировоззрение и его будущее.

Он видел, как его дядя всегда первым протягивал руку, чтобы крепко пожать её собеседнику: рукопожатие политика, заставляющее другого почувствовать себя почётным гостем, вовлечённым, особенным. Он наблюдал, как купцы следовали вековым традициям гостеприимства, которое даруется и принимается с достоинством. Они пили чай, молоко с мёдом, гранатовый сок, наслаждались фаршированными финиками и острыми угощениями, завернутыми в виноградные листья, и макали хлеб в общую чашу, признавая связь между теми, кто делит трапезу. Мухаммад слушал бесконечные переговоры, обучаясь медленному и величественному искусству, в котором каждая сторона одновременно держала другую на расстоянии и приглашала её ближе, оценивая степень гостеприимства и дистанции, уступок и настойчивости, пока наконец не устанавливалось доверие и сделка не закреплялась.

По мере того как Мухаммад продвигался ближе к позиции Абу-Талиба, он начал понимать ценность тех товаров, которые они везли из Мекки. Среди них были относительно обыденные грузы, такие как кожа и шерсть, а также небольшие количества золота и серебра, добытые в горах Хиджаза и предназначенные для изготовления кинжалов и украшений знаменитыми ремесленниками Дамаска. Однако самым лёгким, самым компактным и, безусловно, самым прибыльным из всего груза были наиболее ценные товары: мирра и ладан.

На этих ароматических смолах можно было заработать целое состояние. Их добывали с большим трудом, высекая из, казалось бы, ничем не примечательных колючих кустарников, которые росли исключительно в высокогорьях Йемена, Эфиопии и Сомали. Они пользовались высоким спросом по всему Византийскому и Персидскому империям. Городская элита предпочитала использовать мирру как парфюм и дезодорант. Скорбящие натирали тела умерших миррой перед тем, как завернуть их в саван. Ладан же сжигали в огромных количествах в церквях: его дым наполнял воздух ароматом и окутывал верующих. Кроме того, его бросали горстями в священные зороастрийские огни Персии, заставляя пламя искриться, создавая радугу цветов. Перевозя девять различных видов ладана, а также мирру в виде масла и кристаллов, такой купец, как Абу-Талиб, мог утроить или даже учетверить свои первоначальные вложения — за вычетом всех расходов.

Торговля караванов из Мекки не была случайным делом. Она была организована как картель и управлялась синдикатом. Эта система финансирования приносила пользу всем, кто был допущен к участию. Во времена, когда Мухаммад работал на Абу-Талиба, крупнейшие доли принадлежали четырём основным кланам Курейша, но многие другие имели миноритарные доли, включая отдельных лиц. Пошлины, деньги за охрану, таможенные сборы и налоги на продажу оплачивались синдикатом и учитывались в расчётах, при этом доля каждого участника вычиталась из прибыли для покрытия административных расходов. Здесь также была необходима дипломатия, чтобы сглаживать неизбежные споры о распределении прибыли, и здесь же Мухаммад быстро учился, становясь столь же искусным в улаживании задетого самолюбия, как и в переговорах по различным вопросам.

К началу двадцатых годов Мухаммад стал надёжным помощником Абу-Талиба на долгих караванных путешествиях, и его положение в глазах дяди поднялось настолько, что он уже почти воспринимался как сын. Но только почти.

Если бы эти двое не были близки, Мухаммад никогда бы не осмелился попросить о том, о чём он попросил. Он бы никогда не почувствовал, что имеет право даже затронуть эту тему. Поэтому, когда он попросил руки дочери Абу-Талиба Фахиты, он, конечно же, не мог ожидать отказа. Однако его просьба была отклонена.

Это не была история о юных влюблённых, разлучённых судьбой. Брак в VI веке был гораздо более прагматичным союзом. Мы ничего не знаем о Фахите, кроме её имени. Предложение Мухаммада было адресовано отцу, а не дочери. По сути, он просил Абу-Талиба публично подтвердить их близость, объявив его не просто «как сына», но полноправным членом семьи. Это означало бы, что он перестал быть просто бедным родственником, которому удалось подняться в жизни, а стал зятем.

Решение Абу-Талиба не имело ничего общего с тем, что Мухаммад и Фахита были двоюродными братом и сестрой. Грегор Мендель и наука о генетике появились только спустя тысячу сто лет, а браки между кузенами были столь же обычными в VI веке как в Аравии, так и в других местах, как это было в библейские времена. Такие браки рассматривались как средство укрепления внутренних связей клана, и эта традиция сохранялась в брачных союзах европейской знати вплоть до XX века. Таким образом, существует только одна возможная причина отказа Абу-Талиба: он не считал этот брак выгодным для своей дочери.

Независимо от того, насколько он доверял и полагался на Мухаммада, отец не собирался выдавать свою дочь замуж за сироту без собственных средств. Он намеревался выдать её замуж за представителя элиты Мекки и быстро нашёл для неё более подходящего аристократического жениха.

Если бы Бахира действительно предвидел великое будущее для Мухаммада, Абу-Талиб явно не воспринял его всерьёз. А если Мухаммад думал, что он преодолел ограничения своего детства, теперь ему напоминали, что они всё ещё действуют. Отказ Абу-Талиба нести ответственность за него в качестве зятя содержал ясное послание. «Вот насколько далеко ты можешь зайти, но не дальше», — как бы говорил он. «Хорош, но недостаточно». В сознании его дяди Мухаммад всё ещё был «свой, но не совсем».

Со временем Абу-Талиб пожалеет о своём отказе Мухаммаду. Эти двое в конце концов преодолеют разрыв, который это вызвало между ними, и станут ближе, чем когда-либо. Однако, как это будет происходить неоднократно на протяжении всей жизни Мухаммада, отказ сыграет ему на пользу в долгосрочной перспективе. Отказ Абу-Талиба принять его в качестве зятя окажется одним из тех ироничных поворотов, которые определяют историю — или, если вам так угодно, судьбу человека.

Если бы Мухаммад женился на своей кузине, сегодня никто бы, возможно, даже не знал его имени. Без женщины, на которой он всё же женился, он, возможно, никогда не обрёл бы той смелости и решимости, которые позволили ему исполнить важную, уготованную ему судьбой роль.

## **Шестая глава**

Это был необычный брак. Она была старше него, и хотя мнения о том, насколько старше, расходятся, большинство сходится на том, что ей было сорок лет, а ему — двадцать пять. Но именно это не делало брак необычным. По крайней мере, так считали многие западные ученые. Скорее они раскрывали своё собственное отношение, чем понимание Мухаммада, предполагая, что это был брак по расчету, особенно финансовому. «Он женился на ней из-за денег», — говорили они, — «синдром богатой вдовы», так как им казалось само собой разумеющимся, что она не могла его привлекать. Несколько ученых, склонных к психоанализу, представляли, что он видел в ней образ матери, сирота, ищущий замену матери, которую он потерял в шесть лет. Лишь немногие задумывались о том, что он действительно её любил.

На самом деле разница в возрасте значила немного в культуре, где многожёнство было обычным. Будь то последовательные браки из-за смерти или развода, или полигамные среди элиты, практика означала, что тётя могла быть моложе своего племянника, один сводный брат на целое поколение старше другого, а двоюродный брат соответствовал возрасту, который мы сейчас ожидаем от дяди или племянницы. Однако верно то, что немногие из этих браков основывались на любви. Подавляющее большинство заключалось из политических или финансовых соображений, связывая один клан или племя с другим. Но это не означает, что романтическая любовь не существовала. Поэты доисламской эпохи воспевали её в ярких деталях, только не в рамках брака, который был делом прагматичным, а не романтическим.

И всё же отношения между Мухаммадом и Хадиджей казались чем угодно, но только не прагматичными, и именно это поставило в тупик учёных. Самое разумное объяснение их долгого моногамного брака также является самым простым: у них была настоящая связь глубокой любви и привязанности, которая длилась двадцать четыре года. Она была тем человеком, который сыграл центральную роль в том, чтобы Мухаммад принял свою публичную роль, но сделала это тихо, вне мифологизации его образа, так как она умерла ещё до того, как он начал привлекать массы в свою поддержку.

Спустя долгое время после её смерти он превозносил её как намного превосходящую всех его последующих жён, утверждая, что больше никогда не найдёт такую любовь. Став лидером новой религиозной общины, Мухаммад приобрёл высокий статус, уважение и почитание. Люди стремились быть рядом с ним и заслужить его внимание или поддержку не только из-за личной симпатии, но и ради признания своей значимости или укрепления своего положения в обществе. Однако, несмотря на этот новый статус, он продолжал хранить искренние чувства к Хадидже, потому что она любила его безусловно, задолго до того, как он стал пророком и приобрёл влияние. Хадиджа любила его за то, кем он был, а не за то, кем он станет, и он никогда не забывал её в те поздние годы, бледнея от горя при звуке любого голоса, напоминавшего ему её.

Так что то, что делало этот брак необычным, заключалось не в разнице в возрасте, а в его близости, особенно учитывая разницу в социальном статусе между мужем и женой. И в том, что именно она сделала ему предложение жениться.

Ибн Исхак описывает Хадиджу таким образом: «Хадиджа бинт Хувейлид была женщиной, занимающейся торговлей, пользовалась почетом и имела достаток...Хадиджа была женщиной решительной, благородной, умной и великодушной...». Непривычно видеть такие слова, как «решительная» и «умная», применённые к женщине того времени, но в случае Хадиджи они были совершенно уместны. Дважды овдовевшая, она унаследовала долю своего второго мужа в мекканском караванном картеле, что означало её финансовую независимость — не такую богатую, как ведущие мекканские купцы, но достаточно комфортно устроенную. Теперь у неё был выбор: она могла продать свой бизнес одной из могущественных торговых групп или продолжить его как независимая, для чего ей понадобился бы человек, которому она могла бы доверять для представления её интересов в торговых караванах. По сути, управляющий делами, хорошо разбирающийся в бизнесе и не ставящий свои интересы выше её.

В 595 году она наняла Мухаммада в качестве своего агента на караван, отправлявшийся в Дамаск, и, согласно одному из рассказов, послала с ним надёжного слугу с поручением сообщить, как он справляется с её делами. Слуга, раб по имени Майсара, вернулся с историей, перекликающейся с историей Бахиры пятнадцатью годами ранее. Он сообщил, что Мухаммад искал тень под деревом рядом с монашеской кельей в Сирии, и монах, увидев его, изумился. «Никто ещё не останавливался под этим деревом, кроме пророка», — сказал он Майсаре, который затем добавил чудесное, утверждая, что, когда жара усиливалась к полудню на обратном пути, он видел двух ангелов, заслонявших Мухаммада от солнца.

Данное заключение кажется несколько несправедливым по отношению к Хадидже, поскольку оно, как утверждает Ибн Исхак, предполагает, что именно этот слова Вараки о монахе и ангелах стали решающим фактором, побудившим её предложить брак. Это характерная проблема чудесных историй: если их рассмотреть более детально, они часто оборачиваются против своего же создателя. Этот рассказ как бы подразумевает, что без вмешательства монаха и ангелов Хадиджа никогда бы не решилась рассмотреть Мухаммада в качестве супруга. Однако ей, очевидно, не требовалось постороннего подтверждения его надёжности как управляющего или осознания того, что он был намного большим, чем просто исполнитель её поручений.

Он уже заработал себе отличную репутацию за годы работы с Абу-Талибом. Вместо того чтобы бесконечно торговаться, предлагая более низкие цены и требуя более высокие, чем он знал, что получит, он предлагал справедливые цены с самого начала — и поскольку его знали как справедливого, ему взамен предоставляли товары более высокого качества. Он никогда не брал дополнительной доли для себя за кулисами или не приукрашивал отчёты о расходах (такие практики существовали столько же, сколько существует торговля), поэтому, после того как Абу-Талиб отказал ему в качестве зятя, он стал востребованным независимым агентом, работающим на комиссионной основе. То есть человеком, которого можно нанять, без собственных интересов, которые нужно продвигать, до такой степени, что казалось, он почти презирал стремление к прибыли, которое управляло Меккой.

Какие бы комиссии он ни зарабатывал, он раздавал их в виде милостыни бедным. Другие купцы, несомненно, считали его за это глупцом. Как он вообще рассчитывал жениться, не говоря уже о том, чтобы жениться удачно? Как он надеялся содержать семью? Подняться в обществе? Они пытались использовать отсутствие в нем корыстных интересов в своих целях, что он, конечно, знал, но его это не заботило. Его ценности находились в другом месте, хотя, пока они не касались денег и собственного продвижения, мало кто задавался вопросом, где именно. Его бескорыстие выделяло его, делая его частью культуры, но не её ценностей, и хотя большинству это могло казаться странным, Хадиджа находила это достойным восхищения.

Как вдова, и, до Мухаммада, бездетная, она знала, что значит быть неуверенной в своём положении в обществе, и насколько тяжело было ему пробиваться из рядов мальчиков-погонщиков верблюдов до агентов своих хозяев. Она могла видеть, что с точки зрения зрелости он был куда ближе к среднему возрасту, чем к юности. Поэтому нетрудно понять, как эти два человека, оба необычные для своего времени и места, могли протянуть друг другу руки. Или, скорее, как она протянула ему руку, и, выйдя за него замуж, ввела человека, находящегося вне круга, в круг.

Именно она сделала предложение, просто потому, что он не мог этого сделать. Особенно после отказа Абу-Талиба, он не посмел бы проявить инициативу. Хадиджа принадлежала к могущественному клану Асад, что делало её крайне привлекательной для брака. Среди её женихов были самые богатые купцы Мекки, все они предлагали щедрые дары её отцу, чтобы смягчить сделку. Но, в отличие от юной дочери Абу-Талиба, Хадиджа отказалась быть выставленной на торги. Ей не нужен был ещё один традиционный брак; на этот раз она собиралась бросить вызов традиции и выйти замуж за человека, которого выберет сама, а не за того, кого выберут за неё.

Как передаёт Ибн Исхак, добавляя «так гласит история», чтобы подчеркнуть несколько формальную речь, она сказала: «Я захотела тебя из-за твоего родства, из-за уважения, которым ты пользуешься в своем народе, из-за твоей честности, высокой нравственности, правдивости твоих слов», и предложила ему стать её мужем.

Тем не менее, формальности должны были быть соблюдены. После того как Абу-Талиб отказался от него как от зятя, он вряд ли мог представлять его отцу Хадиджи, как того требовал обычай. Вместо этого другой из десяти сыновей Абд аль-Мутталиба, дядя Мухаммада Хамза, официально попросил её руки от его имени. Согласно одной версии, отец Хадиджи охотно согласился, хотя что он думал о том, что его дочь выходит замуж за «никого», остаётся неясным, особенно учитывая приданое, предлагаемое другими женихами, и вероятность того, что он был против этого брака, как подразумевает другая, более пикантная версия событий.

Эта версия, добросовестно включённая Ибн Исхаком, утверждает, что «Хадиджа пригласила своего отца в свой дом, напоила его вином, пока он не напился, намазала его духами, одела в полосатую накидку и заколола корову. Затем она позвала Мухаммада и его дядю, и когда они пришли, она устроила брак между ними». К тому времени, как её отец протрезвел, всё уже было сделано.

Возможно, такие попытки объяснить брак понятны, учитывая, что отношения, основанные на подлинной любви, заботе и уважении, были редкостью в то время. Но этот рассказ игнорирует репутацию Мухаммада за честность, и, судя по тому, что мы знаем о Хадидже, она была столь же маловероятной, как и он, чтобы участвовать в пьяном обмане. История умаляет её достоинства; возможно, она вышла замуж за человека с меньшим богатством и социальным статусом, но то, что она видела в Мухаммаде, было важнее всего этого.

Дети появились быстро, укрепляя связь между супругами. У них было четверо дочерей и один сын, Касим. Но Касим умер, не дожив до двух лет, и хотя коранические откровения позднее сделают акцент на праздновании дочерей, осуждая тех, кто измерял богатство и статус только количеством сыновей, утрата этого одного сына всё же должна была стать глубоким ударом. Это означало, что Мухаммад останется тем, кого называли *абтар*, что буквально означает «усечённый», «отрезанный» или «прекращённый». Иными словами, без мужского потомства.

Горе от утраты Касима частично смягчил мальчик, уже близкий к дому. Хадиджа подарила Мухаммаду юного раба по имени Зайд в качестве свадебного подарка, но Мухаммад относился к нему скорее как к сыну, настолько, что когда его северо-аравийский клан собрал деньги, чтобы выкупить его, Зайд умолял оставить его с Мухаммадом. Мухаммад отказался от денег, освободил мальчика и официально усыновил его, заложив основу для будущего коранического поощрения освобождения рабов.

Был ещё один мальчик: племянник Мухаммада Али, младший сын Абу-Талиба. Дела отца пошли хуже без помощи Мухаммада, и Мухаммад предложил взять мальчика в свою семью, чтобы поддержать дядю. Человек, которого вырастил его дядя, теперь сам взял на себя воспитание сына этого же дяди. Хотя Мухаммад и Хадиджа формально не усыновили Али, они считали его частью своей семьи. Более того, Али впоследствии женится на их младшей дочери Фатиме.

В свои тридцать лет Мухаммад, казалось, наконец был счастлив. С Хадиджей рядом, с уважением окружающих и комфортным достатком, у него, казалось, было всё, чего разумный человек мог бы пожелать. Несмотря на все трудности, он процветал. Но это не означало, что он оставил позади осознание этих трудностей. Опыт мальчика не мог просто исчезнуть из жизни взрослого мужчины; он был частью того, кем он был, и частью того, что Хадиджа любила в нём. Она разделяла его ценности и, как и он, была потрясена несправедливостью мекканского общества. Их совместная жизнь отражала эти взгляды: они носили домотканое льняное платье вместо кричащего шёлка элиты, штопали и чинили одежду вместо того, чтобы покупать новую, и раздавали большую часть своих доходов на еду и милостыню. Через двоюродного брата Хадиджи, Варака, они нашли своих единомышленников в небольшой группе независимых мекканских мыслителей, известных как *ханифы*.

Лингвисты склонны проявлять осторожность, утверждая, что слово «ханиф» имеет «неясное происхождение», но, скорее всего, оно происходит от слова, обозначающего «наклон» или «поворот», как в случае с тем, кто склоняется или обращается к высшей силе. Мы знаем по именам шестерых таких людей, включая Вараку, который, как утверждается, глубоко изучал как Еврейскую, так и Греческую Библии. Согласно некоторым свидетельствам, он был христианином, по другим – раввином. Более вероятно, что он не был ни тем, ни другим; такая атрибуция, скорее всего, просто результат человеческой потребности в категоризации. В конце концов, вся суть заключалась в том, что ханифы противились категоризации. Их поиски были направлены на чистую форму монотеизма, не запятнанную сектантскими распрями, так характерными для Ближнего Востока того времени. Они сознательно дистанцировались от какой-либо одной священной практики, вместо этого признавая универсальность единого высшего бога, независимо от того, какое имя использовалось — Элохим, Ал-Лах или Ахура-Мазда, зороастрийский «владыка света и мудрости». Тем не менее, Еврейская Библия говорила к их чувству корней, и они обращались к Аврааму — «отцу всех верующих», как назвал его святой Павел, — как к основателю Мекки через сына Исмаила.

Считалось, что именно в Мекку Агарь бежала с маленьким сыном, и именно Авраам и Исмаил вместе построили Каабу как святилище для *сакины* — присутствия Бога, тем самым устанавливая истинную родовую традицию, гораздо более древнюю и значимую, чем относительно недавняя племенная традиция курайшитов.

Слово «ханиф» в конечном итоге будет использоваться в Коране для восхваления всех тех, кто начиная с Авраама признавал единого Бога и отвергал всех остальных. Однако в эти до-коранические времена, несмотря на уважение к ханифам за их знания, они скорее терпелись, чем принимались — принципиальное различие, поскольку в Мекке, как и в любом современном обществе, тот факт, что что-то нужно терпеть, подразумевал, что это всё ещё воспринимается как в какой-то степени неприятное. И, как всегда, терпимость имела свои пределы. Когда Мухаммад был ещё ребёнком, один из ханифов, Зайд ибн Амр, был изгнан из города своим сводным братом после того, как он публично оспорил силу тотемных камней. Известный как «монах», он нашёл уединённое убежище в каменной хижине у подножия горы Хира, прежде чем отправиться странствовать как дервиш, ища великих духовных учителей своего времени по всему Ближнему Востоку. Спустя годы он вернулся в Мекку, желая услышать проповеди Мухаммада, но был убит разбойниками всего за несколько дней до прибытия.

Был ли сам Мухаммад ханифом? Как и они, он был частью Мекки, но что-то в нём оставалось чуждым. Он видел своё общество слишком ясно, чтобы чувствовать себя в нём комфортно: противоречия, лицемерие и отрицания, кажущееся всё более широким разрывом между тем, что люди провозглашали почитать, и тем, что они на самом деле делали. С его собственным ближайшим происхождением, так глубоко вовлечённым в конфликты, он, возможно, был притянут к этой другой, более широкой и более древней линии, воплощённой в истории ребёнка, почти принесённого в жертву, как едва не был принесён в жертву его собственный отец, в покорности единому, высшему Богу. Даже если он не называл себя ханифом, он, должно быть, ощущал родство с этой горсткой людей, которые сознательно поставили себя вне нормы, отвечая на чистоту идеи Бога столь великого, что он, если этот местоимение вообще можно использовать, был за пределами мужского или женского начала, за пределами любых форм представления: единой, непостижимой, универсальной идеи божественного.

Ханифы практиковали форму аскетической медитации в уединённых бдениях, известную как таханнут, и, судя по всему, Мухаммад перенял эту практику в горах за пределами Мекки. В Библии, как в еврейской, так и в греческой, также в индийских и китайских традициях существовала давняя практика такой медитации. Пророки, отшельники, проповедники, гуру — все искали вечную, неизменную тишину высокогорной пустыни для ясности видения, для ощущения вечности, свободной от повседневных человеческих забот. Ведь что могло быть древнее и долговечнее, чем камень? Что могло быть чище и проще, чем горный склон, лишённый всякого человеческого присутствия, даже деревьев и кустов?

Красный гранит Хиджазских гор вовсе не был гладким, как камни в садах дзен, но был грубым, неровным и острым, настолько, что если бы вы упали и схватились за него, он бы разодрал вам руки. Но в этой суровости скрывалась огромная красота. Закутавшись в своё изношенное покрывало, чтобы защититься от наступающего холода вечера, Мухаммад наблюдал, как однообразное сияние дня сменяется богатым светом, окрашивающим горы в золотистый цвет. Когда солнце внезапно исчезало за горизонтом, оставляя западную часть неба мерцать красками, постепенно угасающими, словно кто-то медленно опускал тяжёлую завесу, он ощущал лёгкую дрожь внутри себя. Немного погодя, лунные тени начинали серебрить ландшафт, или же появлялся ледяной, таинственный свет звёздного неба в новолуние, и тогда само время, казалось, меняло свой ход, словно оно растягивалось в бесконечность, пока едва заметное бледное сияние на востоке не приносило с собой предрассветный прохладный ветерок — знак, что время вернулось, и ночное бдение близилось к завершению.

Проводил ли он дыхательные упражнения во время этих ночных бдений, те самые, которые сейчас заново открывают на Западе, но которые издавна использовались мистиками? Ведь что такое молитва, если не форма контроля дыхания? Длинное, ритмичное пение, трансовый ритм, вибрация звука в рту, горле и груди, цикличный акт вдоха и выдоха — всё это создаёт осознание ру́ха, слова, которое в арабском означает одновременно «ветер», «дыхание» и «дух», словно дух переносится ветром или вдохом. Повторял ли он эту мантру паломников: «Вот я, о Боже, вот я»? Или, возможно, на его устах рождалась новая: Ла илаха иллаллах — «Нет Бога, кроме Бога»? Замедлялось ли его дыхание, становясь более глубоким, пока мягкий, музыкальный напев овладевал его языком, исходя из самых глубин его существа в пустынную ночь? В одиночестве, там, на горе, вдали от вихря соперничающих повествований и притязаний, нашёл ли он ту ясность, которую искал? Или, по крайней мере, обрёл ли он спокойное принятие своей отчуждённости — своего положения не совсем принадлежащего, но и не чужого? Кажется, он достигал определённого мира, примирённости. Мы знаем, что он проводил ночи напролёт в таких бдениях, имея при себе лишь самое скромное количество еды и воды. А каждый раз, возвращаясь вниз, он первым делом направлялся к Каабе, чтобы обойти её семь раз, левым плечом внутрь, выполняя привычный обряд возвращения домой. Это был ритуал перехода, возвращения к повседневной человеческой реальности, заземлявший его, прежде чем он вернётся в опору своей жизни — к Хадидже. Но возвращение вниз не всегда было лёгким.

В суровом пейзаже Хиджаза, полном камней и песка, нет такого понятия, как мягкий дождь. Он приходит редко, внезапными порывами, бурными ливнями, которые могут нанести столько же разрушений, сколько и самые зловредные джинны. Вода превращается из благословения в проклятие, а вещество жизни становится орудием смерти. Небо может быть ясным, без облака, и первый признак дождя, стекая по скалам за много миль, может быть всего лишь едва уловимым запахом, принесённым на порыве ветра. Если люди не замечают этого, то животные замечают. Они стоят неподвижно, насторожив уши, смутно ощущая что-то другое. Проходят минуты, даже час, прежде чем песок под ногами начинает увлажняться. Сначала это может быть всего лишь струйка, словно кто-то вылил ведро воды на землю, но затем поток нарастает, слегка тянет за лодыжки, пока слабый гул эхом не начинает доноситься из гор.

Прежде чем вы успеваете осознать, что происходит, вы оказываетесь в потоке, который, кажется, появился ниоткуда. Потеряв равновесие, вы падаете, пытаясь подняться, но вновь сбиваетесь с ног под нарастающей силой песчаной воды, несущейся через вади. Теперь вас окружает рёв — страшный звук больших камней, ударяющих друг о друга. Водовороты несут ветки кустарников, целые кусты, а иногда и тела животных, которые, барахтаясь, тонут в потоке. Вы кричите о помощи, но не слышите собственного голоса. Если камень ударяет вам в голову, и вы теряете сознание, вы можете утонуть даже в нескольких дюймах воды.

Худшим местом в Мекке во время такого наводнения был её самый низкий участок, где сходились все вади, а именно там находилась Кааба. Большинство внезапных наводнений были относительно неглубокими, но к тому времени, когда Мухаммад начал свои уединения на горе Хира в 605 году, сильная буря на юге вызвала поток воды, устремившийся прямо к святилищу. Никто в Мекке на тот момент не мог вспомнить наводнения такого масштаба. Были предприняты меры против затопления, включая строительство полукруглой стены вверх по течению от святилища для его защиты. Но перед яростью такого количества воды стена не устояла: бревна и обломки разрушили её. Поток продолжил своё движение, окружая каменные столбы и обрушиваясь на само святилище с такой силой, что глиняный раствор вымыло, а каменные стены разрушились. К тому времени, когда поток утих, Кааба лежала в руинах.

Не было сомнений в том, что её необходимо восстанавливать, и как можно быстрее, чтобы слухи о её разрушении не распространились по всей Аравии и не были восприняты как дурной знак, подрывающий всю сущность Мекки. Совет курайшитов решил возвести новое святилище на приподнятом фундаменте, чтобы дверь находилась выше уровня возможного нового наводнения. Воспользовавшись случаем, было принято решение о более прочном и внушительном дизайне — высоком, почти кубическом. В тот момент поблизости оказались брёвна, спасённые с судна на Красном море, разбившегося в результате той же бури, что вызвала наводнение. Эти брёвна были доставлены в Мекку, чтобы служить основой новой конструкции.

К работе подключились все жители Мекки. Поскольку труд на новом святилище был привилегией, а не повинностью, его распределили между различными кланами курайшитов, чтобы ни один из них не мог заявить о себе как о единственно почитаемом. И всё шло гладко до тех пор, пока не настало время вернуть на место знаменитый Чёрный Камень.

Сдалека этот камень может показаться большим обломком оникса, но при ближайшем рассмотрении (сегодня он всё ещё встроен в угол Каабы, почти затмеваемый огромной серебряной рамкой) можно увидеть прожилки красного, коричневого и тёмно-зелёного цветов. Предполагается, что он метеоритного происхождения. Согласно исламской традиции, камень был помещён в стену первоначального святилища Авраамом и Исмаилом, затем потерян и вновь обнаружен предком Мухаммада Кусаем, основателем племени курайшитов. Несмотря на свою известность, камень удивительно мал, едва ли больше футбольного мяча. Поэтому поднять его и установить на месте при восстановлении Каабы в 605 году не составляло особой сложности. Поднять и установить Чёрный Камень мог бы один достаточно сильный человек, но возник вопрос: кто именно это сделает? Каждый клан претендовал на честь вернуть камень на его место и никто не хотел уступить. В считаные минуты процесс, который до этого был образцом сотрудничества между кланами курайшитов, перерос в столь ожесточённый спор, что казалось, насилие неизбежно. Один из кланов даже вытащил чашу с кровью животного, опустил в неё руки, затем поднял их вверх, показывая окровавленные ладони, и поклялся, что готов пролить свою кровь, чтобы только один из членов их клана вернул камень на место. Кулаки сжимались, руки тянулись к кинжалам, когда один из старейшин, потрясённый перспективой кровопролития в этом месте, нашёл способ разрядить обстановку.

Он предложил оставить решение на усмотрение Бога. Все должны были согласиться, что первым человеком, вошедшим в святилище, будет тот, кто решит, чьими руками будет поднят Чёрный Камень. И как получилось — или, возможно, как было предопределено, — этим человеком стал Мухаммад.

Только что вернувшись со своей уединённой молитвы, он направился в святилище, чтобы совершить предписанное семикратное обхождение, но вместо привычного ритуала мирного возвращения домой оказался в самом центре конфликта — и в почти Соломоновом положении, чтобы его разрешить. "Это амин, надёжный," — сказали собравшиеся, когда увидели его. "Мы будем довольны его решением."

Он должен был стать арбитром: достаточно внутри сообщества, чтобы знать, что сработает, но в то же время достаточно снаружи, чтобы его сочли объективным. Это была роль, словно созданная для Мухаммада. Именно потому, что он не был одной из ключевых фигур города, он оказался идеальным человеком для этого момента. А что если бы в Каабу в тот момент вошёл кто-то другой? Этот вопрос не имел смысла для ранних исламских историков; с их точки зрения, это мог быть только Мухаммад.

"Принесите мне плащ," — сказал он. Когда ему его принесли, он велел расстелить плащ на земле и положить Чёрный Камень в его центр. "Пусть старейшины каждого клана возьмутся за край плаща," — приказал он, — "и затем поднимут его вместе." Так и сделали. Когда плащ подняли на нужную высоту, Мухаммад аккуратно установил камень на его место.

Это решение было встречено как идеальное. Каждый принял участие в процессе, и все были равны в оказанной им чести. Но для Мухаммада это небольшое, но значимое напоминание о конструктивной силе единства, вероятно, также стало болезненным напоминанием о разделениях. Его не столько вдохновили похвалы за его мудрость, сколько огорчила готовность курайшитов прибегнуть к угрозам насилия, особенно в том единственном месте — святилище Каабы, — где насилие было запрещено. Уходя из святилища в тот день, он, должно быть, ещё острее осознавал своё странное и двусмысленное положение среди курайшитов: его доверяли только потому, что он был одним из них, но при этом не был одним из них. Только потому, что он не занимал позиции лидера. Или, как он думал.

## **Седьмая глава**

Может быть, это могло произойти только тогда, когда ему было сорок, учитывая значение этого числа на всем Ближнем Востоке. Для бедуинов, например, это целительное число — оно спасает жизнь. Общая целебная смесь называется аль-арбайн, сорок, смесь трав в оливковом масле и топленом масле. Традиционные целители говорят, что на сращивание перелома требуется сорок дней (или, как скажут западные врачи, шесть недель). И человека нельзя атаковать в пределах сорока шагов от его дома или шатра, или от дома того, кто дает ему убежище, независимо от справедливости причин.

Сорок — это, так сказать, новый жизненный цикл, и именно так это число последовательно упоминается в священных книгах, вышедших с Ближнего Востока. Продолжительность великого потопа, пережитого в ковчеге Ноя, годы странствий израильтян в пустыне после исхода, ночи, проведенные Моисеем на горе Синай, дни и ночи, проведенные Иисусом в пустыне, — все это сорок, число, обозначающее период борьбы и переселения в подготовке к новому началу. Для тех, кому посчастливилось дожить до этого возраста, сорок лет означали полноту времени: время, чтобы вступить в свою судьбу.

Итак, в месяц Рамадан 610 года, как и в последние несколько лет, Мухаммад искал уединения на горе Хира, где все человеческое было отдалено, и он мог быть частью тишины, позволяя беспощадной необъятности проникнуть в него. Поднимаясь по знакомой тропе, следуя следам горных коз, Мекка исчезала внизу. Он уже хорошо знал эту гору, ее скрытые лощины и расщелины, которые стали частью пейзажа уединения, и к сумеркам он уже находился на своем обычном месте.

Он склонился вперед, будто противостоял невидимому ветру, хотя воздух едва шевелился, и последние птицы спешили укрыться в своих гнездах. По мере того как сгущалась тьма, тишина становилась осязаемой — абсолютной и звенящей, будто тонкий, высокий звук, возникающий одновременно изовсюду и ниоткуда. Это была скорее вибрация, чем звук, словно сама природа обретала сознание. Камень, казалось, дышал жизнью, медленно отдавая накопленное за день тепло в прохладу ночи. Когда звезды начинали свое неторопливое движение по небосводу, возникало чувство, что ты — человек, бесконечно одинокий и в то же время связанный с чем-то необъятным, причастный к существованию, древнему и глубокому, превосходящему мелкие амбиции и жестокости повседневной суеты.

Это было медитацией или бдением? Стоял ли Мухаммад, погружённый в благодарность за простые радости человеческого существования, неожиданно дарованные ему судьбой, или же в его сердце таилась напряжённая настороженность, как будто он предчувствовал неизбежное? Одно можно сказать наверняка: если он стремился обрести покой, то все, что произошло с ним в ту ночь, было всем, чем угодно, кроме покоя.

Что же на самом деле произошло на горе Хира? У нас есть то, что, как предполагается, являются словами самого Мухаммада, но они переданы через других, с несколькими уровнями посредничества, причем каждый рассказчик пытается перевести невыразимое в понятные им термины.

Один из рассказов приписывается Айше, самой молодой и самой откровенной из жен, на которых он женился после смерти Хадиджи: «Он сказал: ‘Когда ангел пришел ко мне, я стоял, но упал на колени и пополз прочь, мои плечи тряслись... Я подумал о том, чтобы сброситься с горного утеса, но он появился ко мне, когда я думал об этом, и сказал: “Мухаммад, я Джабраил, и ты — посланник Бога”. Затем он сказал: “Читай!” Я спросил: “Что мне читать?” Он схватил меня и сильно прижал три раза, пока я почти не задохнулся и подумал, что умру. А потом он сказал: “Читай во имя Господа твоего, который сотворил, сотворил человека из капли крови, что Господь твой самый великодушный, который учит посредством слова, учит человека тому, чего он не знал”».

Рассказ продолжается словами, приписываемыми одному из будущих последователей Мухаммада, ибн Зубайру, который снова цитирует его прямо: «Я прочитал это, и ангел отступил и ушел. Я проснулся, и казалось, что эти слова были выгравированы в моем сердце. Среди всех творений Бога не было никого, кто был бы мне более ненавистен, чем поэт или сумасшедший; я не мог даже смотреть на них, но думал: “Я, должно быть, или поэт, или сумасшедший. Но если это так, то Курайшиты никогда не скажут этого обо мне. Я пойду на горный утес, сброшусь с него и найду утешение в смерти”. Но когда я приблизился к вершине горы, я услышал голос с неба, говорящий: ‘Мухаммад, ты посланник Бога’. Я поднял голову, чтобы увидеть, кто говорил, и вот Джабраил в облике человека с ногами, стоящими на горизонте. Я стоял, глядя на него, и это отвлекло меня от того, что я намеревался сделать, и я не мог двигаться ни вперед, ни назад. Я повернул лицо от него ко всем точкам горизонта, но куда бы я ни смотрел, я видел его в точно такой же форме».

«Это было истинное видение», — говорила Айша, но в её устах и устах других оно теряло свою глубину, становясь неуклюже плоским. Люди с добрыми намерениями пытались найти слова для описания состояния, которого сами никогда не переживали. В их стремлении сделать это доступным пониманию, они упростили пережитое, свели метафизическое к простому физическому — как в образе ангела Гавриила, стоящего на горах. Сам момент, казалось, был укутан тайной, словно его истинная природа находилась за гранью человеческого понимания. Именно так, вероятно, воспринимал это и сам Мухаммад. Его слова оживают не в описании ангельского явления, а в ощутимом ужасе — в том чувстве панической дезориентации, в разрушении привычного порядка вещей, в подавляющем осознании силы, настолько огромной, что она приближает к состоянию смерти, превосходя все границы, доступные человеческому разуму.

Сегодня это сложно понять, когда слово «потрясающий» применяется к новому приложению или вирусному видео, а «ужасный» — к плохому фильму или неудачному ужину. В мире, где нас почти полностью защищают от настоящего благоговейного страха, исключением, пожалуй, остаётся лишь мощное землетрясение. Мало кто теперь знает, каково это — стоять одному на открытой равнине под раскатами грозы или чувствовать, как берег под ногами дрожит от натиска бури, несущей миллионы тонн воды через бескрайний океан. Мы запираемся за дверями, уверенные в своём контроле над происходящим или, по крайней мере, надеясь на него, и утрачиваем связь с тем, что значит оказаться перед лицом силы, неизмеримо большей, чем мы сами.

Как же тогда понять благоговение Мухаммада? Что-то, что буквально метафизично — за пределами физического, — по определению выходит за рамки рационального объяснения. Однако, хотя попытка реконструировать мистический опыт может показаться абсурдной, можно, по крайней мере, быть глупцом, пытающимся, а не глупцом, избегающим всяких попыток.

Рудольф Отто, великий ученый в области сравнительного религиоведения, возможно, приблизился к пониманию этого в своей книге “Идея святого”, хотя и в несколько излишне пылкой манере викторианской эпохи. Страх Божий в Еврейской Библии, писал он, “охватывает человека парализующим эффектом”. Иов испытал “ужас, полный внутреннего содрогания, такого, какого не может внушить даже самое угрожающее и подавляющее творение. В нем есть что-то призрачное”. И он действительно имел в виду призрачное. В призрачных историях, продолжал он, чувство ужаса заставляет вас содрогаться, проникая так глубоко, что “кажется, оно доходит до мозга костей, заставляя волосы вставать дыбом, а конечности трястись”. Однако по сравнению с тем, что он называл “нуминозным сознанием” — осознанием божественной воли и силы, — этот призрачный трепет — детская игра. На высшем уровне “ужас повторяется в форме, возвышенной до невозможности, когда душа, лишенная речи, содрогается внутренне до самых дальних своих волокон”.

В этом опыте нет ничего отдаленно блаженного, подчеркивал Отто, бросая ехидный упрек тем, кто цепляется за идею откровения как экстатического, заключая, что “единственно пугающий и вселяющий ужас характер такого момента должен быть крайне тревожным для тех, кто видит в природе божественного только доброту, мягкость, любовь и некое доверительное родство”.

Но если нам не нужно быть такими витиеватыми, как Отто, то нам также не нужно быть такими буквальными, как Айша или ибн Зубайр. Нам не нужно настаивать на том, что Мухаммад действительно слышал, как Джабарил говорил, словно ангел был человеком, тем более не нужно превращать Мухаммада в нечто вроде божественного диктофона, воспроизводящего продиктованное ему. Поскольку мы — рациональные порождения двадцать первого века, мы могли бы обратиться к науке за объяснением, опираясь на нейропсихиатрию и идею “измененных состояний сознания”.

Был ли Мухаммад в таком измененном состоянии той ночью на горе Хира? Конечно, был. Но нейрологические исследования лишь подтвердили то, что аскеты всегда знали: такие практики, как пост, лишение сна и интенсивная медитация, могут вызывать такие состояния, сопровождаемые изменениями химической активности мозга. Тот факт, что измененное состояние сознания имеет физическую корреляцию, не должен удивлять, поскольку химия мозга отражает полученные впечатления. Но затем предполагать, что все объясняется химией, — это попасть в редуктивную ловушку того, что Уильям Джеймс называл “медицинским материализмом”, который отвергает опыт в пользу механики. Хотя наука может картировать физические эффекты таких измененных состояний, она не может проникнуть в сам опыт этих состояний.

В конце концов, самый практичный способ изучить этот вопрос может быть на первый взгляд самым непрактичным из всех: сделать шаг в поэзию.

Суть религиозного опыта в своем сердце поэтична. Ритуал и догма — это лишь каркас организованной религии — ее балки, так сказать; они не касаются самого религиозного опыта, который является опытом тайны, чего-то неописуемо загадочного.

Поэзия вращается вокруг загадки, что, конечно, не помешало многим поэтам пытаться определить ее. Уолт Уитмен называл красоту стихов “пучком и завершающими аплодисментами науки”, что является хорошо сформулированным ответом медицинскому материализму. Кольридж говорил о “готовности приостановить неверие на мгновение, что составляет поэтическую веру”, а Ральф Уолдо Эмерсон называл поэзию “попыткой выразить дух вещи”. Обратите внимание на используемые слова: “вера” и “дух”. Но самым подходящим определением поэзии может быть анонимное: “говорить то, что невозможно высказать”. Что опять-таки не является поводом не пытаться. Если мы посмотрим на метафоры в рассказе о Мухаммаде на горе, возможно, мы сможем хотя бы начать понимать.

Начнем, тогда, с идеи вдохновения: буквально, акта вдыхания или вдохновения извне. Арабское слово, обозначающее одновременно "дыхание" и "дух", — это "рух", близкое к еврейскому "руах". Идея того, что в тебя вдыхается дух, таким образом, встроена в сам язык, как это видно во втором стихе книги Бытия, где "дыхание Божье" (руах Элохим) "носилось над водами". Но хотя это может казаться прекрасным в теории, представьте себе, что человек — это не вода. Представьте себе, что в вас вдыхают дух с такой силой, что ваше тело едва может это вынести. Здесь нет нежного дуновения с небес, но воздух, с силой врывающийся в ваши легкие, словно гигант делает вам искусственное дыхание. Кажется, что каждая клетка вашего тела захвачена этим, и вы полностью во власти этого. Даже когда это дает вам жизнь, кажется, что это выжимает жизнь из вас, душит вас под своей огромной тяжестью, пока бесполезно даже думать о сопротивлении.

А теперь задумайтесь о настоящем значении фразы Мухаммада: "как будто эти слова были выгравированы в моем сердце". Если это сейчас кажется клише, подумайте об этом заново, так, как он это сказал, и вы начнете понимать его воздействие. Если вы читали рассказ Франца Кафки "В исправительной колонии", вы сразу же вспомните заключенного, на теле которого слова его покаяния вырезаются буква за буквой.

Представьте себе, тогда, невообразимое: мучительную боль острого лезвия, вырезающего глубоко внутри вас, пока вы лежите под ним, сознавая происходящее, но даже не в состоянии сопротивляться. Вот настоящий опыт того детского эпизода, когда два ангела разрезали грудную клетку пятилетнего мальчика, чтобы вынуть его сердце и омыть его, и в нем нет ничего от сверхъестественной безмятежности той более ранней истории. Вместо этого он содержит всю жестокость открытой операции на сердце: разрыв грудной клетки, обнажение сердца, невыразимую боль — все это ради нового шанса на жизнь.

Мухаммад остался на земле, дрожа, изможденный. Он был покрыт потом, но его трясло. Эти слова были внутри него — его собственные и одновременно не его, слова, которые он повторял вслух в тонком, чистом воздухе горы, в пустоту и темноту. Возможно, он где-то внутри себя осознавал, что эти слова могут обрести жизнь, стать реальными, только если будут произнесены перед другим человеком, вдохнуты другим человеком — единственным, к кому он мог броситься за утешением перед лицом этой всепоглощающей силы, который, возможно, мог спасти его как от страха безумия, так и от страха перед божественным, была Хадиджа.

Или, возможно, поначалу не было никаких слов вообще. Возможно, потребовалось время, чтобы пережитое сформировалось в нечто настолько человеческое и ощутимое, как слова. Мы знаем, что он спускался с горы, спотыкаясь и скользя по сыпучей гальке, его дыхание было горячим и хриплым, каждый вдох требовал усилия, пока не казалось, что его грудь вот-вот разорвется. Его мантия была порвана, его руки и ноги исцарапаны и побиты шипами и острыми краями камней на пути его стремительного бегства домой.

"Я боялся за свою жизнь," — это первое, что он сказал. "Я думаю, что, должно быть, сошел с ума." Дрожащий, содрогающийся почти судорожно, он умолял Хадиджу укрыть его и спрятать под своей накидкой. "Укрой меня, укрой меня," — умолял он, положив голову ей на колени, как маленький ребенок, ищущий убежища от ужасов ночи. И один только этот страх был достаточен, чтобы убедить ее, что то, что пережил ее муж, было реальным.

Она держала его, обнимала его, пока ночное небо не начало бледнеть на востоке, обещая утешение грядущего дня. Медленно, запинаясь, слова, которые он, возможно, чувствовал больше, чем слышал, начали обретать физическую форму в его устах. Даже когда он еще дрожал в объятиях Хадиджи, Мухаммад нашел свой голос, и первое откровение Корана сформировалось в слова, которые мог услышать другой человек. То, что было вдохнуто в него на горе, теперь выдыхалось, чтобы найти свое место в мире.

Они были мужем и женой пятнадцать лет, но она никогда раньше не слышала, чтобы он говорил с такой красотой. Его речь обычно была краткой и сдержанной, как и можно ожидать от человека, который с детства научился слушать, а не говорить. Но даже когда слова вошли в ее сознание, она понимала, насколько они необычны. Не только для человека, которого она любила, но и для всего их мира. Что бы это ни было, она мгновенно поняла одно: это был конец их тихой, почти скромной жизни, которую они вели до сих пор. Ничто уже никогда не будет таким, как раньше.

Другая женщина, возможно, сочла бы это несправедливым. Она бы испугалась того потрясения, которое было неизбежным, той насмешки и презрения, которые уже маячили на горизонте. Она попыталась бы защитить себя и его, отрицая действительность произошедшего, предпочитая думать, что его первая реакция была правильной, и что он действительно был одержим джинном. Попыталась бы отговорить его, сгладить ситуацию, убедить его, что все будет хорошо, если он просто выспится, что бояться нечего, что это всего лишь игра разума, не стоящая беспокойства, что с утра все будет лучше.

Вместо этого Хадиджа отреагировала так, будто именно этого она наполовину ожидала все это время — как будто она видела в Мухаммаде то, что он едва замечал в себе самом. Когда он сказал, что боится, что сошел с ума, она просто покачала головой. “Да убережет тебя Бог от безумия, мой дорогой,” — сказала она. “Бог не сделал бы такого с тобой, ведь он знает твою правдивость, твою честность и доброту. Такое просто невозможно.”

И когда он рассказал ей все, что произошло, ее спокойная уверенность лишь усилилась. “Клянусь тем, в чьей руке моя душа,” — сказала она, — “я надеюсь, что ты станешь пророком для этого народа.”

Она держала его до самого рассвета, чувствуя, как его мышцы постепенно расслабляются, пока страх, заставлявший его дрожать, не утих. Его голова стала тяжелой на ее коленях, и он наконец погрузился в глубокий сон изнеможения. Когда она убедилась, что он не проснется скоро, она осторожно уложила его на постель, плотно закуталась в свою тунику и вышла ранним утром, направляясь к дому своего кузена Вараки.

Она шла со спокойной решимостью по узким переулкам, пока первые крики петухов раздавались эхом, мимо бродячих собак, ищущих объедки, ослов, жующих корм, и случайных приглушенных проклятий тех, кто пытался еще немного поспать. Варака, самый старший из ханифов, должен был подтвердить то, что она уже знала: страх Мухаммада перед заблуждением как раз-таки был самым убедительным доказательством того, что он не был заблужден. Он не был каким-то оторванным от реальности мистиком, парящим над обычными людьми в самодовольной ауре святости, но, как вскоре скажет голос Корана, “всего лишь посланник”, “всего лишь один из людей”. Просто человек, внезапно обремененный задачей, казавшейся не по-человечески огромной.

Реакция ее кузена была не менее предсказуемой: “Если ты говоришь мне правду, Хадиджа, то все, что явилось Мухаммаду, было великим духом, который явился Моисею в древности, и он действительно пророк этого народа. Велите ему быть твердым духом.”

Но когда она возвращалась домой к своему спящему мужу, она, должно быть, делала это с тяжелым сердцем, осознавая кажущуюся нелепость того, что мужчина средних лет и женщина, находившаяся на пороге старости, между собой держали ключ к тому, что могло быть началом новой эпохи. Ее детородные годы уже позади, но здесь она находилась в моменте рождения чего-то настолько радикально нового и одновременно настолько древнего, что это казалось устрашающим.

У нее не было иллюзий относительно того, насколько тяжелым это будет. Словно ужаса от его переживаний той ночью было недостаточно, она знала, что Мухаммад столкнется с еще одним уровнем страха: очень человеческим страхом того, что это задание окажется ему не под силу, что он не сможет с ним справиться. Потому что если она была права, как и Варака, тогда уважение, которое Мухаммад выстраивал так долго и тяжело, теперь оказалось под угрозой. Он снова станет чужаком, даже изгоем. Его не просто будут игнорировать, его будут активно презирать и высмеивать, его честь будет подвергнута сомнению, его достоинство принижено. Небольшой, скромный мир, который он сумел создать за все эти годы, будет разрушен, и не было никакой гарантии, что он когда-нибудь обретет его снова.